

100 великих романов

Лев ТОЛСТОЙ

ВОСКРЕСЕНИЕ



100 великих романов

Лев Толстой
Воскресение

«ВЕЧЕ»

1899

Толстой Л. Н.

Воскресение / Л. Н. Толстой — «ВЕЧЕ», 1899 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-8681-8

Последний роман Льва Толстого (1828–1910) был опубликован спустя десять лет после написания и оказался в числе произведений, за которые писатель был отлучен от Церкви. История князя Нехлюдова, его мучительной переоценки жизненных ценностей поучительна для каждого. Писатели и их великие произведения для того и существуют, чтобы от сочувствия героям перейти к пониманию самих себя.

ISBN 978-5-4444-8681-8

© Толстой Л. Н., 1899

© ВЕЧЕ, 1899

Содержание

Картины и чертежи Толстого	6
Часть первая	8
I	9
II	11
III	14
IV	18
V	20
VI	22
VII	24
VIII	26
IX	28
X	31
XI	33
XII	37
XIII	40
XIV	42
XV	44
XVI	47
XVII	49
XVIII	51
XIX	53
XX	55
XXI	57
XXII	60
XXIII	62
XXIV	67
XXV	69
XXVI	70
XXVII	73
XXVIII	76
XXIX	80
Конец ознакомительного фрагмента.	82

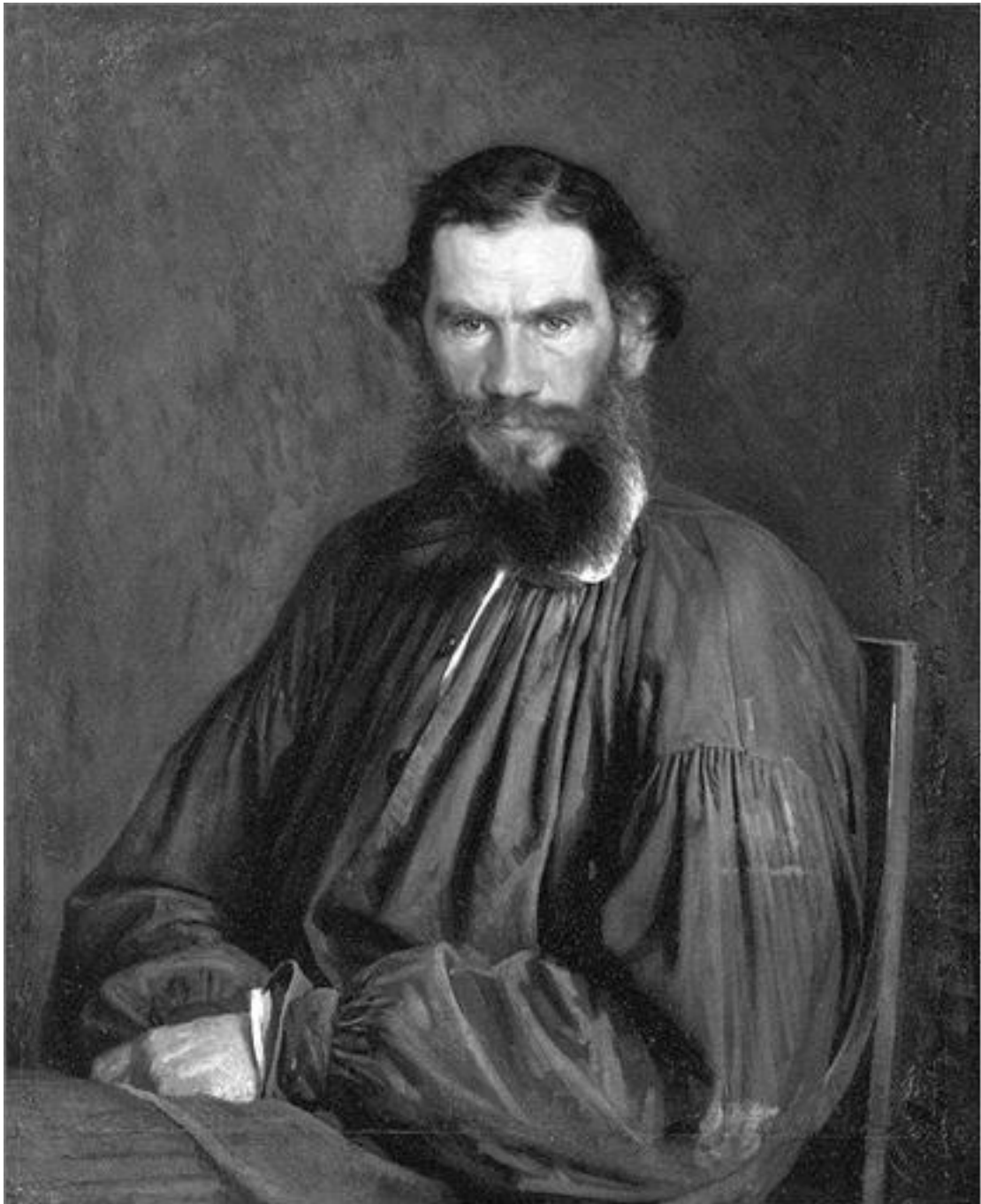
Лев Толстой

Воскресение

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru



Лев Николаевич Толстой

Картины и чертежи Толстого

Лев Толстой (1828–1910) так долго жил, столько всего написал, столько разного наговорил, что все сказанное о нем и его творчестве может быть более-менее аргументированно опровергнуто. И тем не менее.

Последний, третий, роман Толстого «Воскресение» поражает своим механическим сочетанием мощного реалистического полотна с горячей, но плоской публицистикой. Как если бы на живописную картину оказался нанесен чертеж, линейная схема композиции. По-разному и по отдельности интересно то и другое.

Толстой изначально являлся в равной степени прирожденным художником слова и мучеником рассудка, что очевидно уже в его дебютных повестях о детстве-отрочестве-юности. Вероятно, подтолкнуло развитие будущего писателя в этом направлении раннее сиротство, когда детей Толстых их родня неоднократно передавала с рук на руки. А подстегнуло чтение взрослых книг – в особенности французских просветителей и рационалистов XVIII века, определивших дух и характер истории Нового времени. Присущая им независимость суждений, критика существующего порядка вещей и социальной несправедливости, вера в благодать природы и всеислие разума, педагогика самосовершенствования сформировали мировоззрение Толстого. Его кумиром и поводырем в духовных исканиях сделался Жан-Жак Руссо, чей портрет в медальоне он в юные годы носил на груди рядом с ладанкой. Литературный талант Толстого всячески сопротивлялся его предрасположенности к доктринерству и нравоучениям, матеревшей по мере старения. Но эта же предрасположенность способствовала развитию его аналитических способностей. Беспощадная борьба двух противоположных влечений продолжалась в сердце, сознании и творчестве писателя на протяжении всей жизни. Он уже стыдился собственных романов, заклеил Шекспира как соблазнителя человечества и неумеху, настаивал на антагонизме Красоты и Добра... и при этом на закате жизни продолжал сочинять одно из своих вершинных произведений – повесть о Хаджи-Мурате!

Прав был Ленин, восхитившийся: «Экий матёрый человечеще!» – и гениально доказательно окрестивший Толстого «зеркалом русской революции». После третьей революции, Октябрьской, оба определения уже не требовали доказательств, с чем согласились не только философ Бердяев и историк церкви Флоровский. Подобно Руссо и Вольтеру, Толстой подготовил и разрыхлил – вспахал! – почву для социальной революции невиданных масштабов. Обладая темпераментом ересиарха, своей сектантской аргументацией, антиисторизмом, правовым нигилизмом, верой в возможность построения царства божественной справедливости на земле он заразил множество русских людей, не имевших ничего общего с учением толстовства, однако не умевших думать самостоятельно и полагавшихся на моральный авторитет так называемых властителей дум.

И при всем том невозможно отрицать здоровое евангельское, хочешь не хочешь, зерно в учении Толстого и его апелляциях к совести и рассудку каждого из нас. Кто захотел, тот слышал призыв поискать «бревно в собственном глазу», а толстовский принцип «непротивления злу силой» применили Ганди и Мартин Лютер Кинг и подтвердили его действенность в некоторых случаях. Вот ведь в чем фокус.

Намерение написать еще один роман у Толстого, зарекшегося сочинять романы, возникло под впечатлением от судебного казуса, о котором рассказал ему знаменитый адвокат Кони. Один из присяжных заседателей неожиданно узнал в подсудимой соблазненную и брошенную им когда-то девушку. А за Толстым водились подобные грехи в молодости, и он с ужасом осознал, что сам вполне мог бы оказаться в ситуации такого присяжного. Пушкин, Тургенев, Бунин не видели в связях дворян с дворовыми девушками или крестьянками никакого криминала. Боготворимый Толстым Руссо признается в «Исповеди», что своих незакон-

норожденных детей немедленно сдавал в сиротские приюты, подальше от греха, аргументируя это самыми высокоморальными соображениями. Но для Толстого, пережившего после «Анны Карениной» духовный перелом и нравственное перерождение, такого рода снисходительность к себе была немыслима. Она означала бы крах его личности и совершенное его поражение как художника и мыслителя.

Хотя на самом деле Толстой, что называется, заметал следы, признаваясь в меньшем и давнем прегрешении, чтобы скрыть от самого себя куда более весомые причины своего громко заявленного перерождения, связанные с обстоятельствами не очень удачно сложившейся семейной жизни, становившейся с годами все более невыносимой и разрешившейся побегом из Ясной Поляны. И его «Воскресение» являлось всего лишь подготовкой к этому побегу.

Поначалу Толстой собирался ограничиться написанием «конневской повести» (рабочее название для истории, услышанной от Кони). Но замысел постепенно стал разрастаться благодаря вторжению в него и подключению все новых мотивов, тем и сфер.

В XIX веке так называемый половой вопрос терзал людей не меньше, чем пресловутый жилищный в XX веке, когда половой вопрос и сословное неравенство утратили у нас прежнюю остроту. «Воскресение» – где-то между «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой» – и «про это» тоже. Но в не меньшей степени это роман о социальной несправедливости, судопроизводстве, армии, институте церкви, системе уголовных наказаний в царской России и многом другом.

И Толстой, как писатель реалистической школы, не пожалел усилий для более близкого знакомства с тем, о чем имел приблизительное представление. Он с большим усердием посещал судебные заседания и камеры Бутырской тюрьмы, сопровождал шествие под конвоем приговоренных арестантов от тюрьмы до вокзала (когда от одной только нестерпимой жары погибло как-то пятеро из них, как говорится в авторском примечании), разговаривал с людьми, вникал. Соответственно, и главного героя своего романа Толстой отправил по пути жен декабристов и Сони Мармеладовой в далекую Сибирь вслед за каторжниками – искупать общую вину всех перед всеми. В конце романа его Нехлюдов читает Евангелие от Матфея, весьма вольно перетолкованное автором, и упоает на воскресение своей души. Ровно так же, как Раскольников, между прочим.

Великие люди, в том числе великие писатели, существуют не для того, чтобы дружно поклоняться им, а чтобы, узнав их с максимальной достоверностью и сочувствием, начать лучше понимать самих себя.

Игорь Клев

Часть первая

Матф. Гл. XVIII. Ст. 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал: господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 22. Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз.

Матф. Гл. VII. Ст. 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?

Иоанн. Гл. VIII. Ст. 7. ...кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

Лука. Гл. VI. Ст. 40. Ученик не бывает выше своего учителя; но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.

I

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопающиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священо и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священо и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом.

Так, в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта – две женщины и один мужчина. Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно. И вот, на основании этого предписания, 28-го апреля в темный вонючий коридор женского отделения, в восемь часов утра, вошел старший надзиратель. Вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, обшитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница.

– Вам Маслову? – спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор.

Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул:

– Маслова, в суд! – и опять притворил дверь, дожидаясь.

Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город. Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходившего человека. Это испытала на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, входя в коридор, почувствовала усталость, и ей захотелось спать.

В камере слышна была суетня: женские голоса и шаги босых ног.

– Живей, что ль, поворачивайся там, Маслова, говорю! – крикнул старший надзиратель в дверь камеры.

Минуты через две из двери бодрым шагом вышла, быстро повернулась и стала подле надзирателя невысокая и очень полногрудая молодая женщина в сером халате, надетом на белую кофту и на белую юбку. На ногах женщины были полотняные чулки, на чулках – острожные коты, голова была повязана белой косынкой, из-под которой, очевидно умышленно, были выпущены колечки вьющихся черных волос. Все лицо женщины было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведенных долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале. Такие же были и небольшие широкие руки и белая полная шея, видневшаяся из-за большого воротника халата. В лице этом поражали, особенно на матовой бледности лица, очень черные, блестящие, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза,

из которых один косил немного. Она держалась очень прямо, выставляя полную грудь. Выйдя в коридор, она, немного закинув голову, посмотрела прямо в глаза надзирателю и остановилась в готовности исполнить все то, что от нее потребуют. Надзиратель хотел уже запереть дверь, когда оттуда высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо простоволосой седой старухи. Старуха начала что-то говорить Масловой. Но надзиратель надавил дверь на голову старухи, и голова исчезла. В камере захохотал женский голос. Маслова тоже улыбнулась и повернулась к зарешетенному маленькому оконцу в двери. Старуха с той стороны прильнула к оконцу и хриплым голосом проговорила:

– Пуше всего – лишнего не высказывай, стой на одном, и шабаш.

– Да уж одно бы что, хуже не будет, – сказала Маслова, тряхнув головой.

– Известно, одно, а не два, – сказал старший надзиратель с начальственной уверенностью в собственном остроумии. – За мной, марш!

Видневшийся в оконце глаз старухи исчез, а Маслова вышла на середину коридора и быстрыми мелкими шагами пошла вслед за старшим надзирателем. Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо еще более, чем женские, вонючих и шумных камер мужчин, из которых их везде провожали глаза в форточках дверей, и вошли в контору, где уже стояли два конвойных солдата с ружьями. Сидевший там писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестантку, сказал:

– Прими.

Солдат – нижегородский мужик с красным, изрытым оспой лицом – положил бумагу за обшлаг рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу, широкоскулому чувашину, на арестантку. Солдаты с арестанткой спустились с лестницы и пошли к главному выходу.

В двери главного выхода отворилась калитка, и, переступив через порог калитки на двор, солдаты с арестанткой вышли из ограды и пошли городом посередине мощеных улиц.

Извозчики, лавочники, кухарки, рабочие, чиновники останавливались и с любопытством оглядывали арестантку; иные покачивали головами и думали: «Вот до чего доводит дурное, не такое, как наше, поведение». Дети с ужасом смотрели на разбойницу, успокаиваясь только тем, что за ней идут солдаты и она теперь ничего уже не сделает. Один деревенский мужик, продавший уголь и напившийся чаю в трактире, подошел к ней, перекрестился и подал ей копейку. Арестантка покраснела, наклонила голову и что-то проговорила.

Чувствуя направленные на себя взгляды, арестантка незаметно, не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное на нее внимание веселило ее. Веселил ее тоже чистый, сравнительно с острогом, весенний воздух, но больно было ступать по камням отвыкшими от ходьбы и обутыми в неуклюжие арестантские коты ногами, и она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче. Проходя мимо мучной лавки, перед которой ходили, перекачиваясь, никем не обижаемые голуби, арестантка чуть не задела ногою одного сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром. Арестантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение.

II

История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода.

Так умерло пять детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. Шестой ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка, и участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежала родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной».

Ребенку было три года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею.

Старых барышень было две: меньшая, подороже – Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, постороже – Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем – не Катюша и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие постирушечки и иногда сидела с барышнями и читала им.

За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни.

Так жила она до шестнадцати лет. Когда же ей минуло шестнадцать лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом через два года этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них четыре дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день сторублевую бумажку, уехал. Через пять месяцев после его отъезда она узнала наверное, что она беременна.

С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но, сама не зная, как это случилось, – вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета.

И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только три месяца, потому что становой, пятидесятилетний старик, стал приставать к ней, и один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие. Но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер.

Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было сто двадцать семь рублей: двадцать семь – зажитых и сто рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего шесть рублей. Она не умела беречь деньги и на себя тратила и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье – за корм и за чай – за два месяца сорок рублей, двадцать пять рублей пошли за отправку ребенка, сорок рублей повитуха выпросила себе займы на корову, рублей двадцать разошлись так – на платья, на гостинцы, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать места. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но, точно так же как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее, главное – был хозяин, который мог посылать ее куда хотел, и, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив зажитое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку.

Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропавшего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуги. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший, уса́тый, шестого класса гимназист, бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей места, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой; старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей двадцать пять рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще двадцать пять рублей и предложил переехать в отдельную квартиру.

Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее, в Нижний, и Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные, с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и глядя в тридцатиградусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу.

И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслова разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости.

Маслова курила уже давно, но в последнее время связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно.

Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унижительное положение прислуги, в котором наверное будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое постоянное прелюбодеяние, и она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняло ее и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платя она может заказывать себе какие только пожелает, – бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой – декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой.

И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для девяти женщин из десяти мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью.

Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставанье с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотренье из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом; потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примериванье платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматриванье себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая, жирная пища; потом одеванье в яркое шелковое, обнажающее тело платье; потом выход в разукрашенную, ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами – всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики и шутки, и драки и музыка, и табак и вино, и вино и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение – участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора – мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данный от природы для ограждения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали с своими сообщниками в продолжение недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом и зимой, и в будни и в праздники.

Так прожила Маслова семь лет. За это время она переменяла два дома и один раз была в больнице. На седьмом году ее пребывания в доме терпимости и на восьмом году после первого падения, когда ей было двадцать шесть лет, с ней случилось то, за что ее посадили в острог и теперь вели на суд, после шести месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками.

III

В то время когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера.

Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю с спальней уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками опущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы.

Все вещи, которые он употреблял, – принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, – были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные.

Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, – когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, – Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмальной скатертью с большими вензелями, стояли: серебряный кофейник с пачухим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипячеными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue des deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведущей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре, с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробора. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки.

Аграфена Петровна лет десять в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой.

– С добрым утром, Дмитрий Иванович.

– Здравствуйте, Аграфена Петровна. Что новенького? – спросил Нехлюдов шутя.

– Письмо, от княгини ли, от княжны ли. Горничная давно принесла, у меня дожидается, – сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь.

– Хорошо, сейчас, – сказал Нехлюдов, взяв письмо, и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился.

Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову.

– Так я ей скажу подождать, – и Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой.

Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его.

«Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью, – было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями острым, но разгонистым почерком, – напоминаю вам, что вы нынче, 28-го апреля, должны быть в суде присяжных и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы, с свойственным вам легкомыслием, вчера обещали; à moins que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous vous refusez pour votre cheval¹, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же.

Кн. М. Корчагина».

На другой стороне было прибавлено:

«Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu' à la nuit. Venez absolument à quelle heure que cela soit².

М. К.».

Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже два месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложения. Причина эта заключалась не в том, что он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее, это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы; причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею.

Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной.

На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно: муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание и что он просит Нехлюдова

¹ Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в 300 рублей, которые вы жалаете истратить на покупку лошади (*фр.*).

² Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно когда угодно (*фр.*).

непременно приехать и *donner un coup d'épaule paule*³ в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии.

Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни.

Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека: вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал, и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух, и о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», – подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки, для ее же блага, их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучало его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи.

Другое письмо было от главноуправляющего именьями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство: так ли, как оно велось при покойнице, или, как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу трех тысяч рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой потому, что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большою собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера и в особенности, сам будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в «*Social statics*»⁴ о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямою и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли (принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично) мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух: или отказаться от своей собственности, как он сделал это десять лет тому назад по отношению двухсот десятин отцовской земли, или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными.

Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которые он тогда почерпнул из «*Социальной статики*» Спенсера и блестящее

³ Поддержать (*фр.*).

⁴ «Социальная статика» (*англ.*).

подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа, – он никак не мог.

И от этого письмо управляющего было неприятно ему.

IV

Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился два года, и этюдов, и всей мастерской напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно.

Семь лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната, со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами.

Тотчас же найдя в ящике огромного стола, под отделом срочные, повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в одиннадцать, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее: было слишком интимно; написал другую – было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей.

– Пожалуйста, пошлите за извозчиком.

– Слушаю-с.

– Да скажите – тут дожидаются от Корчагиных, – что благодарю, постараюсь быть.

– Слушаю.

«Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче», – подумал Нехлюдов и пошел одеваться.

Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его.

– А вчера, вы только уехали от князя Корчагина, – сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи, – и я приехал, а швейцар говорит: «Только вышли».

«И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», – подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время: следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак, ни в ту, ни в другую сторону, не мог решить его.

В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни; во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины.

В пользу же, в частности, женитьбы именно на Мисси (Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище) было, во-первых, то, что она была породиста и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а «порядочностью», – он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко; во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его, стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание

его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на Мисси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Мисси, и потому более достойную его, и, во-вторых, то, что ей было двадцать семь лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любви, – и эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его, но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его.

Так что доводов было столько же за, сколько и против; по крайней мере, по силе своей доводы эти были равны, и Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться.

«Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны (жены предводителя), не покончив совершенно с тем, я и не могу ничего предпринять», – сказал он себе.

И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему.

«Впрочем, это все я обдумаю после», – сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда.

«Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. Притом же это часто бывает и интересно», – сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда.

V

В коридорах суда уже шло усиленное движение, когда Нехлюдов вошел в него.

Сторожа то быстро ходили, то рысью даже, не поднимая ног от пола, но шмыгая ими, запыхавшись, бегали взад и вперед с поручениями и бумагами. Пристава, адвокаты и судейские проходили то туда, то сюда, просители или подсудимые не под стражей уныло бродили у стен или сидели, дожидаясь.

– Где окружный суд? – спросил Нехлюдов у одного из сторожей.

– Какой вам? Есть гражданское отделение, есть судебная палата.

– Я присяжный.

– Уголовное отделение. Так бы и сказали. Сюда направо, потом налево и вторая дверь.

Нехлюдов пошел по указанию.

У указанной двери стояли два человека, дожидаясь: один был высокий, толстый купец, добродушный человек, который, очевидно, выпил и закусил и был в самом веселом расположении духа; другой был приказчик еврейского происхождения. Они разговаривали о цене шерсти, когда к ним подошел Нехлюдов и спросил, здесь ли комната присяжных.

– Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат, присяжный? – весело подмигивая, спросил добродушный купец. – Ну что же, вместе потрудимся, – продолжал он на утвердительный ответ Нехлюдова, – второй гильдии Баклашов, – сказал он, подавая мягкую широкую несжимающуюся руку, – потрудиться надо. С кем имею удовольствие?

Нехлюдов назвалса и прошел в комнату присяжных.

В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей. Все только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знакомясь. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, один только был в поддевке.

На всех был, – несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что тяготятся этим, – на всех был отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения общественного важного дела.

Присяжные, кто познакомившись, а кто так, только догадываясь, кто – кто, разговаривали между собой о погоде, о ранней весне, о предстоящих делах. Те, кто не были знакомы, поспешили познакомиться с Нехлюдовым, очевидно считая это за особую честь. И Нехлюдов, как и всегда среди незнакомых людей, принимал это как должное. Если бы его спросили, почему он считает себя выше большинства людей, он не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных достоинств. То же, что он выговаривал хорошо по-английски, по-французски и по-немецки, что на нем было белье, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков этих товаров, никак не могло служить – он сам понимал – причиной признания своего превосходства. А между тем он несомненно признавал это свое превосходство и принимал выказываемые ему знаки уважения как должное и оскорблялся, когда этого не было. В комнате присяжных ему как раз пришлось испытать это неприятное чувство от выказанного ему неуважения. В числе присяжных нашелся знакомый Нехлюдова. Это был Петр Герасимович (Нехлюдов никогда и не знал и даже немного хвастал тем, что не знает его фамилии), бывший учитель детей его сестры. Петр Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он всегда был невыносим Нехлюдову своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще своей «коммуностью», как говорила сестра Нехлюдова.

– А, и вы попали, – с громким хохотом встретил Петр Герасимович Нехлюдова. – Не отвертелись?

– Я и не думал отвертываться, – строго и уныло сказал Нехлюдов.

– Ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь да спать не дадут, не то запоете! – еще громче хохоча, заговорил Петр Герасимович.

«Этот протоиереев сын сейчас станет мне “ты” говорить», – подумал Нехлюдов и, выразив на своем лице такую печаль, которая была бы естественна только, если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошел от него и приблизился к группе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то оживленно рассказывавшего. Господин этот говорил о процессе, который шел теперь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судей и знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что заплатить большие деньги противной стороне.

– Гениальный адвокат! – говорил он.

Его слушали с уважением, и некоторые старались вставить свои замечания, но он всех обрывал, как будто он один мог знать все по-настоящему.

Несмотря на то, что Нехлюдов приехал поздно, пришлось долго дожидаться. Задерживал дело до сих пор не приехавший один из членов суда.

VI

Председательствующий приехал в суд рано. Председательствующий был высокий, полный человек с большими седеющими бакенбардами. Он был женат, но вел очень распущенную жизнь, так же как и его жена. Они не мешали друг другу. Нынче утром он получил записку от швейцарки-гувернантки, жившей у них в доме летом и теперь проезжавшей с юга в Петербург, что она будет в городе между тремя и шестью часами ждать его в гостинице «Италия». И потому ему хотелось начать и кончить раньше заседание нынешнего дня, с тем чтобы до шести успеть посетить эту рыженькую Клару Васильевну, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман.

Войдя в кабинет, он защелкнул дверь, достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры (гири) и сделал двадцать движений вверх, вперед, вбок и вниз и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой.

«Ничто так не поддерживает, как обливание водою и гимнастика», – подумал он, ощупывая левой рукой с золотым кольцом на безымяннике напряженный бицепс правой. Ему оставалось еще сделать мулине (он всегда делал эти два движения перед долгим сидением заседания), когда дверь дрогнула. Кто-то хотел отворить ее. Председатель поспешно положил гири на место и отворил дверь.

– Извините, – сказал он.

В комнату вошел один из членов, в золотых очках, невысокий, с поднятыми плечами и нахмуренным лицом.

– Опять Матвея Никитича нет, – сказал член недовольно.

– Нет еще, – надевая мундир, отвечал председатель. – Вечно опаздывает.

– Удивительно, как не совестно, – сказал член и сердито сел, доставая папиросы.

Член этот, очень аккуратный человек, нынче утром имел неприятное столкновение с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц деньги. Она просила дать ей вперед, но он сказал, что не отступит от своего. Вышла сцена. Жена сказала, что если так, то и обеда не будет, чтобы он и не ждал обеда дома. На этом он уехал, боясь, что она сдержит свою угрозу, так как от нее всего можно было ожидать. «Вот и живи хорошей, нравственной жизнью, – думал он, глядя на сияющего, здорового, веселого и добродушного председателя, который, широко расставляя локти, красивыми белыми руками расправлял густые и длинные седеющие бакенбарды по обеим сторонам шитого воротника, – он всегда доволен и весел, а я мучаюсь».

Вошел секретарь и принес какое-то дело.

– Очень вам благодарен, – сказал председатель и закурил папироску. – Какое же дело пустим первым?

– Да я думаю, отравление, – как будто равнодушно сказал секретарь.

– Ну, хорошо, отравление так отравление, – сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до четырех часов, а потом уехать. – А Матвея Никитича нет?

– Все нет.

– А Бреве здесь?

– Здесь, – отвечал секретарь.

– Так скажите ему, если увидите, что мы начнем с отравления.

Бреве был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании.

Выйдя в коридор, секретарь встретил Бреве. Подняв высоко плечи, он, в расстегнутом мундире, с портфелем под мышкой, чуть не бегом, постукивая каблуками и махая свободной рукой так, что плоскость руки была перпендикулярна к направлению его хода, быстро шагнул по коридору.

- Михаил Петрович просил узнать, готовы ли вы, – спросил у него секретарь.
- Разумеется, я всегда готов, – сказал товарищ прокурора. – Какое дело первое?
- Отравление.

– И прекрасно, – сказал товарищ прокурора, но он вовсе не находил этого прекрасным: он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом поехали к женщинам в тот самый дом, в котором шесть месяцев тому назад еще была Маслова, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть и теперь хотел пробежать его. Секретарь же нарочно, зная, что он не читал дела об отравлении, посоветовал председателю пустить его первым. Секретарь был либерального, даже радикального образа мыслей человек. Бreve же был консервативен и даже, как все служащие в России немцы, особенно предан православию, и секретарь не любил его и завидовал его месту.

- Ну, а как же о скопцах? – спросил секретарь.

– Я сказал, что не могу, – сказал товарищ прокурора, – за отсутствием свидетелей, так и заявлю суду.

- Да ведь все равно...

- Не могу, – сказал товарищ прокурора и, так же махая рукой, пробежал в свой кабинет.

Он откладывал дело о скопцах за отсутствием совсем неважного и ненужного для дела свидетеля только потому, что дело это, слушаясь в суде, где состав присяжных был интеллигентный, могло кончиться оправданием. По уговору же с председателем дело это должно было перенестись на сессию уездного города, где будут больше крестьяне, и потому больше шансов обвинения.

Движение по коридору все усиливалось. Больше всего народа было около залы гражданского отделения, в которой шло то дело, о котором говорил представительный господин присяжным, охотник до судейских дел. В сделанный перерыв из этой залы вышла та самая старушка, у которой гениальный адвокат сумел отнять ее имущество в пользу дельца, не имевшего на это имущество никакого права, – это знали и судьи, а тем более истец и его адвокат; но придуманный ими ход был такой, что нельзя было не отнять имущество у старушки и не отдать его дельцу. Старушка была толстая женщина в нарядном платье и с огромными цветами на шляпке. Она, выйдя из двери, остановилась в коридоре и, разводя толстыми, короткими руками, все повторяла: «Что ж это будет? Сделайте милость! Что ж это?» – обращаясь к своему адвокату. Адвокат смотрел на цветы на ее шляпке и не слушал ее, что-то соображая.

Вслед за старушкой из двери залы гражданского отделения, сияя пластроном широко раскрытого жилета и самодовольным лицом, быстро вышел тот самый знаменитый адвокат, который сделал так, что старушка с цветами осталась ни при чем, а делец, давший ему десять тысяч рублей, получил больше ста тысяч. Все глаза обратились на адвоката, и он чувствовал это и всей наружностью своей как бы говорил: «Не нужно никаких выражений преданности», – и быстро прошел мимо всех.

VII

Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок и также набок выставяемой нижней губой, вошел в комнату присяжных.

Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. Три месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому.

– Что же, господа, собрались все? – сказал он, надевая *pinse-nez* и глядя через него.

– Все, кажется, – сказал веселый купец.

– Вот поверим, – сказал судебный пристав и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через *pinse-nez*, то сквозь него.

– Статский советник И.М. Никифоров.

– Я, – сказал представительный господин, знавший все судейские дела.

– Отставной полковник Иван Семенович Иванов.

– Здесь, – отозвался худой человек в отставном мундире.

– Купец второй гильдии Петр Баклашов.

– Есть, – сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот. – Готовы!

– Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов.

– Я, – отвечал Нехлюдов.

Судебный пристав особенно учтиво и приятно, глядя поверх *pinse-nez*, поклонился, как будто выделяя его этим от других.

– Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов, – и т. д., и т. д.

Все, кроме двух, были в сборе.

– Теперь пожалуйста, господа, в залу, – приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав.

Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания.

Зала суда была большая, длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, к которому вели три ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли три кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике – точеная дубовая решетка и за нею еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в два ряда стулья тоже с высокими спинками, для присяжных, внизу столы для адвокатов. Все это было в передней части залы, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части залы, на передних лавках, сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и двое мужчин, тоже из рабочих, очевидно подавленных величием убранства залы и потому робко перешептывавшихся между собой.

Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал:

– Суд идет!

Все встали, и на возвышение залы вышли судьи: председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами; потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь

был еще мрачнее оттого, что перед самым заседанием он встретил своего шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры и сестра объявила ему, что обеда не будет.

– Так что, видно, в кабачок поедем, – сказал шурин, смеясь.

– Ничего нет смешного, – сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее.

И, наконец, третий член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал, – этот член был бородатый человек с большими, вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал, по совету доктора, новый режим, и этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шагок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу.

Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бываю в буфетах конфеты, чернильница, перья и лежала бумага чистая и прекрасная и вновь очиненные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он так же поспешно, с портфелем под мышкой, и так же махая рукой, прошел к своему месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив и твердо решил сделать карьеру и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи, но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он теперь поспешно и выписывал из дела.

Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те бумаги, которые могут понадобиться для чтения, просматривал запрещенную статью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хотелось ознакомиться с нею.

VIII

Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу и секретарю и, получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсудимых. Тотчас же дверь за решеткой отворилась, и вошли в шапках два жандарма с оголенными саблями, а за ними сначала один подсудимый, рыжий мужчина с веснушками, и две женщины. Мужчина был одет в арестантский халат, слишком широкий и длинный для него. Входя в суд, он держал руки с оттопыренными большими пальцами, напряженно вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускавшиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судей и зрителей, внимательно смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя ее, он аккуратно, с края, давая место другим, сел на нее и, вперив глаза в председателя, точно шепча что-то, стал шевелить мускулами в щеках. За ним вошла немолодая женщина, также одетая в арестантский халат. Голова женщины была повязана арестантской косынкой, лицо было серо-белое, без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась совершенно спокойной. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то, она старательно, не торопясь, выпростала его и села.

Третья подсудимая была Маслова.

Как только она вошла, глаза всех мужчин, бывших в зале, обратились на нее и долго не отрывались от ее белого с черными глянцеви́то-блестящими глазами лица и выступавшей под халатом высокой груди. Даже жандарм, мимо которого она проходила, не спуская глаз, смотрел на нее, пока она проходила и усаживалась, и потом, когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и, встряхнувшись, уперся глазами в окно прямо перед собой.

Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и, как только Маслова уселась, обратился к секретарю.

Началась обычная процедура: перечисление присяжных заседателей, рассуждение о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашивались, и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетки, вложил их в стеклянную вазу и стал, немного засучив шитые рукава мундира и обнажив сильно поросшие волосами руки, с жестами фокусника, вынимать по одному билетку, раскатывать и читать их. Потом председатель спустил рукава и предложил священнику привести заседателей к присяге.

Старичок священник, с опухшим желто-бледным лицом, в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на рясе, медленно под рясой передвигая свои опухшие ноги, подошел к аналою, стоящему под образом.

Присяжные встали и, толпясь, двинулись к аналою.

– Пожалуйте, – проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных.

Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоиерей. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек и что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, которой он оставит, кроме дома, капитал не менее тридцати тысяч в процентных бумагах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд нехороший, никогда не приходило ему в голову, и он не только не тяготился этим, но любил это привычное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он получил десять тысяч рублей.

Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув набок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным.

– Правую руку поднимите, а персты сложите так вот, – сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть. – Теперь повторяйте за мной, – сказал он и начал: – Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его Евангелием и животворящим Крестом Господним, что по делу, по которому... – говорил он, делая перерыв после каждой фразы. – Не опускайте руки, держите так, – обратился он к молодому человеку, опустившему руку, – что по делу, по которому...

Представительный господин с бакенбардами, полковник, купец и другие держали руки с сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с особенным удовольствием, очень определенно и высоко, другие как будто неохотно и неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и выражением, говорящим: «А я все-таки буду и буду говорить», другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко, один только старичок священник был несомненно убежден, что он делает очень полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. Присяжные встали и, теснясь, прошли в совещательную комнату, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предложил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились и, побросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председателю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два ряда на стулья с высокими спинками.

Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, последовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общественное дело. Это чувство испытывал и Нехлюдов.

Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменил позу: то облакачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш.

Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения тайны совещаний и установления сношений с посторонними они подвергались наказанию.

Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головою.

IX

Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым.

– Симон Картинкин, встаньте, – сказал он.

Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее.

– Ваше имя?

– Симон Петров Картинкин, – быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно вперед приготовившись к ответу.

– Ваше звание?

– Крестьяне.

– Какой губернии, уезда?

– Тульской губернии, Крапивенского уезда, волости Купянской, села Борки.

– Сколько вам лет?

– Тридцать четвертый, рожден в тысяча восемьсот...

– Веры какой?

– Веры мы русской, православной.

– Женат?

– Никак нет-с.

– Чем занимаетесь?

– Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».

– Судились когда прежде?

– Никогда не сужден, потому как мы жили прежде...

– Не судились прежде?

– Помилуй бог, никогда.

– Копию с обвинительного акта получили?

– Получили.

– Садитесь. Евфимия Иванова Бочкова, – обратился председатель к следующей подсудимой.

Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову.

– Картинкин, сядьте.

Картинкин все стоял.

– Картинкин, сядьте!

Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову набок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!»

Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.

– Ваше имя? – со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом.

Бочковой было сорок три года, знание – коломенская мещанка, занятие – коридорная в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Евфимия, и Бочкова, копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.

– Ваше имя? – обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. – Надо встать, – прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.

Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами.

– Звать как?

– Любовью, – проговорила она быстро.

Нехлюдов между тем, надев рinсе-pez, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть, – думал он, не спуская глаз с лица подсудимой, – но как же Любовь?», – думал он, услышав ее ответ.

Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.

– Как Любовью? – сказал он. – Вы записаны иначе.

Подсудимая молчала.

– Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя.

– Крещена как? – спросил сердитый член.

– Прежде знали Катериной.

«Да не может быть», – продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.

Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре.

– Вы так и должны были сказать, – опять-таки особенно мягко сказал председатель. – Отчество как?

– Я – незаконная, – проговорила Маслова.

– Все-таки по крестному отцу как звали?

– Михайловой.

«И что могла она сделать?» – продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.

– Фамилия, прозвище ваше как? – продолжал председатель.

– Писали по матери Масловой.

– Звание?

– Мещанка.

– Веры православной?

– Православной.

– Занятие? Чем занимались?

Маслова молчала.

– Чем занимались? – повторил председатель.

– В заведении была, – сказала она.

– В каком заведении? – строго спросил член в очках.

– Вы сами знаете, в каком, – сказала Маслова, улыбнулась и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя.

Что-то было такое необыкновенное в выражении лица и страшное и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу,

что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы:

- Под судом и следствием не были?
- Не была, – тихо проговорила Маслова, вздыхая.
- Копию с обвинительного акта получили?
- Получила.
- Сядьте, – сказал председатель.

Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя.

Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в залу заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он вятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший л и р, сливался в один непрерывающийся, усыпительный гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты.

Из подсудимых Картинкин не переставая шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову.

Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца.

Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая рiнсе-пез, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.

Х

Обвинительный акт был такой:

– «17 января 188* года в гостинице “Мавритания” скоропостижно умер приезжий – курганский 2-й гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков.

Местный полицейский врач 4-го участка удостоверил, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело Смелькова было предано земле.

По прошествии нескольких дней возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства, сопровождавшие кончину Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нем денег.

Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коим установлено: 1) что Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей серебром. Между тем при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только 312 рублей 16 копеек. 2) Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой (Екатериной Масловой) в доме терпимости и в гостинице “Мавритания”, куда, по поручению Смелькова и в отсутствие его, Екатерина Маслова приезжала из дома терпимости за деньгами, кои достала из чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смельковым ключом, в присутствии коридорной прислуги гостиницы “Мавритании” Евфимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова, при отмыкании его Масловой, присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов сто-рублевого достоинства. 3) По возвращении Смелькова из дома терпимости в гостиницу “Мавритания” вместе с проституткой Любкой сия последняя, по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке коньяка белый порошок, полученный ею от Картинкина. 4) На следующее утро проститутка Любка (Екатерина Маслова) продала своей хозяйке, содержательнице дома терпимости свидетельнице Китаевой, брильянтовый перстень Смелькова, якобы подаренный ей Смельковым. 5) Коридорная девушка гостиницы “Мавритания” Евфимия Бочкова на другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в местный коммерческий банк 1800 рублей серебром.

Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления.

Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Бочкова и Картинкин виновными себя не признали, объявив: Маслова – что она действительно была послана Смельковым из дома терпимости, где она, по ее выражению, работает, в гостиницу “Мавританию” привезти купцу денег, и что, отперев там данным ей ключом чемодан купца, она взяла из него 40 рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не брала, что могут подтвердить Бочкова и Картинкин, в присутствии которых она отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Далее показала, что она при вторичном своем приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему, по наущению Картинкина, выпить в коньяке каких-то порошков, которые она считала усыпительными, с тем чтобы купец заснул и поскорее отпустил ее. Кольцо подарил ей сам Смельков после того, как он побил ее и она заплакала и хотела от него уехать.

Евфимья Бочкова показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах, и что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что и похищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами. – В этом месте чтения Маслова вздрогнула и, открыв рот, оглянулась на Бочкову. – Когда же Евфимии Бочковой был предъявлен ее счет в банке на 1800 рублей серебром, – продолжал читать секретарь, – и спрошено: откуда у нее взялись такие деньги, она показала, что они нажиты ею

в продолжение двенадцати лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти замуж. Симон Картинкин, в свою очередь, при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой, по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпимости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой. – При этом Маслова опять вздрогнула, привскочила даже, багрово покраснела и начала говорить что-то, но судебный пристав остановил ее. – Наконец, – продолжал чтение секретарь, – Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца; во вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О деньгах же, вложенных Бочковой в банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним двенадцатилетней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги».

Затем следовало в обвинительном акте описание очных ставок, показания свидетелей, мнение экспертов и т. д.

Заключение обвинительного акта было следующее:

– «Ввиду всего вышеизложенного крестьянин села Борков Симон Петров Картинкин 33-х лет, мещанка Евфимия Иванова Бочкова 43-х лет и мещанка Екатерина Михайлова Маслова 27-ми лет обвиняются в том, что они 17-го января 188* года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть.

Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 4453 статьи Уложения о наказаниях. Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Евфимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей».

Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства: он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой десять лет тому назад.

XI

Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы всё и наверно узнаем самым подробным образом.

– Крестьянин Симон Картинкин, – начал он, склоняясь налево.

Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками.

– Вы обвиняетесь в том, что 17 января 188* года вы, в сообществе с Евфимьей Бочковой и Екатериной Масловой, похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным? – проговорил он и склонился направо.

– Никак невозможно, потому наше дело служить гостям...

– Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным?

– Никак нет-с. Я только...

– После скажете. Признаете ли вы себя виновным? – спокойно, но твердо повторил председатель.

– Не могу я этого сделать, потому как...

Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.

Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Евфимье Бочковой.

– Евфимья Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17-го января 188* года в гостинице «Мавритания», вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой, похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенное между собой, опоили, для скрытия своего преступления, купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

– Не виновата я ни в чем, – бойко и твердо заговорила обвиняемая. – Я и в номер не входила... А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело.

– Вы после скажете, – сказал опять так же мягко и твердо председатель. – Так вы не признаете себя виновной?

– Не я брала деньги, и не я поила, я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула.

– Вы не признаете себя виновной?

– Никогда.

– Очень хорошо.

– Екатерина Маслова, – начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой, – вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень, – говорил он, как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки. – Похитили из чемодана деньги и перстень, – повторил председатель, – и, разделив похищенное и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

– Ни в чем не виновата, – быстро заговорила она, – как сначала говорила, так и теперь говорю; не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал...

– Вы не признаете себя виновной в похищении двух тысяч пятисот рублей денег? – сказал председатель.

– Говорю, ничего не брала, кроме сорока рублей.

– Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?

– В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю – не хотела, – сказала она.

– Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова, – сказал председатель. – Но признаете, что дали порошки?

– Стало быть, признаю, только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул, – не хотела и не думала.

– Очень хорошо, – сказал председатель, очевидно довольный достигнутыми результатами. – Так расскажите, как было дело, – сказал он, облакачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол. – Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение.

Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала.

– Расскажите, как было дело.

– Как было? – вдруг быстро начала Маслова. – Приехала в гостиницу, провели меня в номер, там он был, и очень уже пьяный. – Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово он. – Я хотела уехать, он не пустил.

Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом.

– Ну, а потом?

– Что ж потом? Потом побыла и поехала домой.

В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.

– Вы желаете сделать вопрос? – сказал председатель и на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.

– Я желал бы предложить вопрос: была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде? – сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову.

И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.

– С Симоном? Была, – сказала она.

– Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?

– В чем знакомство? Приглашал меня к гостям, а не знакомство, – отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.

– Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек, – зажмурившись, но с легкой мефистофельской, хитрой улыбкой сказал товарищ прокурора.

– Я не знаю. Почему я знаю, – отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. – Кого хотел, того приглашал.

«Неужели узнала?» – с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь прилиwała ему к лицу; но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора.

– Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным? Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить.

И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки, но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают: после ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника.

Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны.

– Что же дальше было? – продолжал спрашивать председатель.

– Приехала домой, – продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя, – отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула – наша девушка Берта будит меня. «Ступай, твой купец опять приехал». Я не хотела выходить, но мадам велела. Тут он, – она опять с явным ужасом выговорила это слово он, – он все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер. И сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала.

Председатель шептался в это время с членом налево и не слышал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил её последние слова.

– Вы поехали. Ну, и что же? – сказал он.

– Приехала и сделала все, как он велел: пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича и ее, – сказала она, указывая на Бочкову.

– Врет она, и входить не входила... – начала было Бочкова, но ее остановили.

– При них взяла четыре красненьких, – хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.

– Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала сорок рублей, сколько было денег? – спросил опять прокурор.

Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла.

– Я не считала; видела, что были сторублевые только.

– Подсудимая видела сторублевые, – я больше ничего не имею.

– Ну, что же, привезли деньги? – продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.

– Привезла.

– Ну, а потом? – спросил председатель.

– А потом он опять взял меня с собой, – сказала Маслова.

– Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? – спросил председатель.

– Как дала? Всыпала в вино, да и дала.

– Зачем же вы дали?

Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула.

– Он все не отпускал меня, – помолчав, сказала она. – Измучалась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: «Хоть бы отпустил меня. Устала». А Симон Михайлович говорит: «Он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать; он заснет, тогда уйдешь». Я говорю: «Хорошо». Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финьшампань, налила в два стакана – себе и ему, а в его стакан высыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала.

– Ну, а как же у вас оказался перстень? – спросил председатель.

– Перстень он мне сам подарил.

– Когда же он вам подарил его?

– А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала, – сказала она.

В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над шитым воротником голову, спросил:

– Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова.

Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила:

– Не помню, сколько времени.

– Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостинице, выйдя от купца Смелькова?

Маслова подумала.

– В номер рядом, в пустой, заходила, – сказала она.

– Зачем же вы заходили? – сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обращаясь к ней.

– Зашла оправиться и дожидалась извозчика.

– А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?

– Он тоже зашел.

– Зачем же он зашел?

– От купца финь-шампань остался, мы вместе выпили.

– А, вместе выпили. Очень хорошо.

– А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?

Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила:

– Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала, и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте. Не виновата я, и все.

– Я больше ничего не имею, – сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.

Наступило молчание.

– Вы не имеете еще ничего сказать?

– Я все сказала, – проговорила она, вздыхая, и села.

Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на десять минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Соповещение между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв.

Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели и, с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела, задвигались туда и сюда.

Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.

XII

Да, это была Катюша.

Отношения Нехлюдова к Катюше были вот какие.

В первый раз увидал Нехлюдов Катюшу тогда, когда он на третьем курсе университета, готовя свое сочинение о земельной собственности, прожил лето у своих тетушек. Обыкновенно он с матерью и сестрой жил летом в материнском большом подмосковном имении. Но в этот год сестра его вышла замуж, а мать уехала на воды за границу. Нехлюдову же надо было писать сочинение, и он решил прожить лето у тетушек. У них в их глуши было тихо, не было развлечений; тетушки же нежно любили своего племянника и наследника, и он любил их, любил их старомодность и простоту жизни.

Нехлюдов в это лето у тетушек переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша не по чужим указаниям, а сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку, видит возможность бесконечного совершенствования и своего, и всего мира и отдается этому совершенствованию не только с надеждой, но и с полной уверенностью достижения всего того совершенства, которое он воображает себе. В этот год еще в университете он прочел «Социальную статику» Спенсера, и рассуждения Спенсера о земельной собственности произвели на него сильное впечатление, в особенности потому, что он сам был сын большой землевладелицы. Отец его был небогат, но мать получила в приданое около десяти тысяч десятин земли. Он в первый раз понял тогда всю жестокость и несправедливость частного землевладения, и, будучи одним из тех людей, для которых жертва во имя нравственных требований составляет высшее духовное наслаждение, он решил не пользоваться правом собственности на землю и тогда же отдал доставшуюся ему по наследству от отца землю крестьянам. Он на эту же тему и писал свое сочинение.

Жизнь его в этот год в деревне у тетушек шла так: он вставал очень рано, иногда в три часа, и до солнца шел купаться в реку под горой, иногда еще в утреннем тумане, и возвращался, когда еще роса лежала на траве и цветах. Иногда по утрам, напившись кофею, он садился за свое сочинение или за чтение источников для сочинения, но очень часто, вместо чтения и писания, опять уходил из дома и бродил по полям и лесам. Перед обедом он засыпал где-нибудь в саду, потом за обедом веселил и смешил тетушек своей веселостью, потом ездил верхом или катался на лодке и вечером опять читал или сидел с тетушками, раскладывая пасьянс. Часто по ночам, в особенности лунным, он не мог спать только потому, что испытывал слишком большую волнующую радость жизни, и, вместо сна, иногда до рассвета ходил до сада с своими мечтами и мыслями.

Так счастливо и спокойно жил он первый месяц своей жизни у тетушек, не обращая никакого внимания на полугорничную-полувоспитанницу, черноглазую, быстроногую Катюшу.

В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он мечтал о женщине только как о жене. Все же женщины, которые не могли, по его понятию, быть его женой, были для него не женщины, а люди. Но случилось, что в это лето, в Вознесенье к тетушкам приехала их соседка с детьми: двумя барышнями, гимназистом и с гостившим у них молодым художником из мужиков.

После чая стали по скошенному уже лужку перед домом играть в горелки. Взяли и Катюшу. Нехлюдову после нескольких перемен пришлось бежать с Катюшей. Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения.

– Ну, теперь этих не поймаешь ни за что, – говорил «горевший» веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких и кривых, но сильных мужицких ногах, – нешто спотыкнутся.

– Вы, да не поймаете!

– Раз, два, три!

Ударили три раза в ладоши. Едва удерживая смех, Катюша быстро переменялась местами с Нехлюдовым и, пожав своей крепкой, шершавой маленькой рукой его большую руку, пустилась бежать налево, гремя крахмальной юбкой.

Нехлюдов бежал быстро, и ему хотелось не поддаться художнику, и он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидел художника, преследующего Катюшу, но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бежал, но Катюша, оглянувшись на Нехлюдова, подала ему знак головой, чтобы соединиться за клумбой. Он понял ее и побежал за кусты. Но тут, за кустами, была незнакомая ему канавка, заросшая крапивой; он спотыкнулся в нее и, острекав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал, но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место.

Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками.

– Обстрекались, я чай, – сказала она, свободной рукой поправляя сбившуюся косу, тяжело дыша и улыбаясь, снизу вверх прямо глядя на него.

– Я и не знал, что тут канавка, – сказал он, также улыбаясь и не выпуская ее руки.

Она придвинулась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом; она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы.

– Вот тебе раз! – проговорила она и, быстрым движением вырвав свою руку, побежала прочь от него.

Подбежав к кусту сирени, она сорвала с него две ветки белой, уже осыпавшейся сирени и, хлопая себя ими по разгоряченному лицу и оглядываясь на него, бойко размахивая перед собой руками, пошла назад к играющим.

С этих пор отношения между Нехлюдовым и Катюшей изменились и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу.

Как только Катюша входила в комнату или даже издали Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее; жизнь становилась радостней. То же испытывала и она. Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на Нехлюдова; это действие производило на него одно сознание того, что есть эта Катюша, а для нее, что есть Нехлюдов. Получал ли Нехлюдов неприятное письмо от матери, или не ладилось его сочинение, или чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило только вспомнить о том, что есть Катюша и он увидит ее, и все это рассеивалось.

Катюше было много дела по дому, но она успевала все переделать и в свободные минуты читала. Нехлюдов давал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочел. Больше всего ей нравилось «Затишье» Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками, при встречах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в комнате старой горничной тетушек Матрены Павловны, с которой вместе жила Катюша и в горенку которой иногда Нехлюдов приходил пить чай вприкуску. И эти разговоры в присутствии Матрены Павловны были самые приятные. Разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста, губы морщились, и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились.

Такие отношения продолжались между Нехлюдовым и Катюшей во все время его первого пребывания у тетушек. Тетушки заметили эти отношения, испугались и даже написали об этом за границу княгине Елене Ивановне, матери Нехлюдова. Тетушка Марья Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей. Но она напрасно боялась этого:

Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него и для нее. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасения же поэтической Софьи Ивановны о том, чтобы Дмитрий, со своим цельным, решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на ее происхождение и положение, были гораздо основательнее.

Если бы Нехлюдов тогда ясно сознал бы свою любовь к Катюше и в особенности если бы тогда его стали бы убеждать в том, что он никак не может и не должен соединить свою судьбу с такой девушкой, то очень легко могло бы случиться, что он, с своей прямолинейностью во всем, решил бы, что нет никаких причин не жениться на девушке, кто бы она ни была, если только он любит ее. Но тетушки не говорили ему про свои опасения, и он так и уехал, не сознав своей любви к этой девушке.

Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда все его существо чувства радости жизни, разделяемое этой милой, веселой девочкой. Когда же он уезжал и Катюша, стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными, полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. И ему стало очень грустно.

– Прощай, Катюша, благодарю за все, – сказал он через чепец Софьи Ивановны, садясь в пролетку.

– Прощайте, Дмитрий Иванович, – сказала она своим приятным, ласкающим голосом и, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени, где ей можно было свободно плакать.

XIII

С тех пор в продолжение трех лет Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с нею только тогда, когда, только что произведенный в офицеры, по дороге в армию, заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето три года тому назад.

Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело, – теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать, – теперь все в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людьми (философия, поэзия), – теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом, – теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное: женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег и можно было не взять и третьей части того, что давала мать, можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам, – теперь же недоставало тех тысячи пятисот рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим я он считал свое духовное существо, – теперь он считал собою свое здоровое, бодрое, животное я.

И вся эта страшная перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного я, ищущего легких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного я. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей, – веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его.

Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, – все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тетка его с добродушной иронией называли его *potre cher philosophe*⁵; когда же он читал романы, рассказывал скабрезные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их, – все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью и какой-то хвастливой оригинальностью, когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таким до женитьбы, то родные его боялись за его здоровье, и даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Про эпизод же с Катюшей, что он мог подумать жениться на ней, княгиня-мать не могла подумать без ужаса.

Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца, крестьянам, потому что считал несправедливым владение землею, – этот поступок его привел в ужас его мать и родных и был постоянным предметом укора и насмешки над ним всех его родственников. Ему не переставая рассказывали о том, что крестьяне, получившие землю, не только не разбогатели, но обеднели, заведя у себя три кабака и совершенно перестав работать. Когда же Нехлюдов, поступив в гвардию, с своими высокопо-

⁵ Наш дорогой философ (*фр.*).

ставленными товарищами прожил и проиграл столько, что Елена Ивановна должна была взять деньги из капитала, она почти не огорчилась, считая, что это естественно и даже хорошо, когда эта оспа прививается в молодости и в хорошем обществе.

Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что он, веря себе, считал хорошим, считалось дурным другими, и, наоборот, все, что, веря себе, он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем, что Нехлюдов сдался, перестал верить себе и поверил другим. И в первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго, и очень скоро Нехлюдов, в это же время начав курить и пить вино, перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение.

И Нехлюдов, с страстностью своей натуры, весь отдался этой новой, одобряющей всеми его окружающими жизни и совершенно заглушил в себе тот голос, который требовал чего-то другого. Началось это после переезда в Петербург и завершилось поступлением в военную службу.

Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой – рабскую покорность высшим себя начальникам.

Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется еще и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов с тех пор, как он поступил в военную службу и стал жить так, как жили его товарищи.

Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной, и выезженной, и выкормленной лошади на ученье или смотр с такими же людьми, и скакать, и махать шашками, стрелять и учить этому других людей. Другого занятия не было, и самые высокопоставленные люди, молодые, старики, царь и его приближенные не только одобряли это занятие, но хвалили, благодарили за это. После же этих занятий считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходить есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах; потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скаканье и опять швырянье денег и вино, карты, женщины.

В особенности развращающе действует на военных такая жизнь потому, что если невоенный человек ведет такую жизнь, он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалятся, гордятся такую жизнью, особенно в военное время, как это было с Нехлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. «Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее».

Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни; чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и не переставая находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма.

В таком состоянии и находился он, когда после трех лет заехал к тетушкам.

XIV

Нехлюдов заехал к тетушкам потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его полку, и потому, что они его очень об этом просили, но, главное, заехал он теперь для того, чтобы увидеть Катюшу. Может быть, в глубине души и было у него уже дурное намерение против Катюши, которое нашептывал ему его разнuzданный теперь животный человек, но он не сознавал этого намерения, а просто ему хотелось побывать в тех местах, где ему было так хорошо, и увидеть немного смешных, но милых, добродушных тетушек, всегда незаметно для него окружавших его атмосферой любви и восхищения, и увидеть милую Катюшу, о которой осталось такое приятное воспоминание.

Приехал он в конце марта, в Страстную пятницу, по самой распутице, под проливным дождем, так что приехал до нитки промокший и озябший, но бодрый и возбужденный, каким он всегда чувствовал себя в это время. «У них ли еще она?» – думал он, въезжая на знакомый, заваленный свалившимся снегом с крыши старинный помещичий, огороженный кирпичной стенкой двор тетушек. Он ждал, что она выбежит на крыльцо на его колокольчик, но на девичье крыльцо вышли две босые, подтыканные бабы с ведрами, очевидно моющие полы. Ее не было и на парадном крыльце; вышел только Тихон-лакей, в фартуке, тоже, вероятно, занятый чисткой. В переднюю вышла Софья Ивановна в шелковом платье и чепце.

– Вот мило, что приехал! – говорила Софья Ивановна, целуя его. – Машенька нездорова немного, устала в церкви. Мы причащались.

– Поздравляю, тетя Соня, – говорил Нехлюдов, целуя руки Софьи Ивановны, – простите, замочил вас.

– Иди в свою комнату. Ты измок весь. И усы уж у тебя... Катюша! Катюша! Скорее кофею ему.

– Сейчас! – отозвался знакомый приятный голос из коридора.

И сердце Нехлюдова радостно екнуло. «Тут!» И точно солнце выглянуло из-за туч. Нехлюдов весело пошел с Тихоном в свою прежнюю комнату переодеваться.

Нехлюдову хотелось спросить Тихона про Катюшу; что она? как живет? не выходит ли замуж? Но Тихон был так почтителен и вместе строг, так твердо настаивал на том, чтобы самому поливать из рукомойника на руки воду, что Нехлюдов не решился спрашивать его о Катюше и только спросил про его внуков, про старого братцева жеребца, про дворняжку Полкана. Все были живы, здоровы, кроме Полкана, который взбесился в прошлом году.

Скинув все мокрое и только начав одеваться, Нехлюдов услышал быстрые шаги, и в дверь постучались. Нехлюдов узнал и шаги и стук в дверь. Так ходила и стучалась только она.

Он накинул на себя мокрую шинель и подошел к двери.

– Войдите!

Это была она, Катюша. Все та же, еще милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившие черные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке. Она принесла от тетушек только что вынутый из бумажки душистый кусок мыла и два полотенца: большое русское и мохнатое. И нетронутое с отпечатанными буквами мыло, и полотенца, и сама она – все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто, приятно. Милые, твердые, красные губы ее все так же морщились, как и прежде при виде его, от неудержимом радости.

– С приездом вас, Дмитрий Иванович! – с трудом выговорила она, и лицо ее залилось румянцем.

– Здравствуй... здравствуйте, – не знал он, как, на «ты» или на «вы», говорить с ней, и покраснел так же, как и она. – Живы, здоровы?

– Слава богу... Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло, розовое, – сказала она, кладя мыло на стол и полотенца на ручки кресел.

– У них свое, – отстаивая самостоятельность гостя, сказал Тихон, с гордостью указывая на раскрытый большой, с серебряными крышками, несессер Нехлюдова с огромным количеством щеток, фиксатуаров, духов и всяких туалетных инструментов.

– Поблагодарите тетушку. А как я рад, что приехал, – сказал Нехлюдов, чувствуя, что на душе у него становится так же светло и умильно, как бывало прежде.

Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла.

Тетушки, и всегда любившие Нехлюдова, еще радостнее, чем обыкновенно, встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит. Это трогало тетушек.

Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек только сутки, но, увидав Катюшу, он согласился встретиться у тетушек Пасху, которая была через два дня, и телеграфировал своему приятелю и товарищу Шенбоку, с которым они должны были съехаться в Одессе, чтобы и он заехал к тетушкам.

С первого же дня, как он увидал Катюшу, Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Так же, как и прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук Катюши, не мог без радости слышать ее походку, ее голос, ее смех, не мог без умиления смотреть в ее черные, как мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась, не мог, главное, без смущения видеть, как она краснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблен, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной, и он сам не решался признаться себе в том, что он любит, и когда он был убежден в том, что любить можно только один раз, – теперь он был влюблен, зная это и радуясь этому и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чем состоит любовь и что из нее может выйти.

В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один – духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой – животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира. В этот период его сумасшествия эгоизма, вызванного в нем петербургской и военной жизнью, этот животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного человека. Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, что он испытывал к ней тогда, духовный человек поднял голову и стал заявлять свои права. И в Нехлюдове не переставая в продолжение этих двух дней до Пасхи шла внутренняя, не сознаваемая им борьба.

В глубине души он знал, что ему надо ехать и что незачем теперь оставаться у теток, знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, но было так радостно и приятно, что он не говорил этого себе и оставался.

Вечером в субботу, накануне светло Христова воскресения, священник с дьяконом и дьячком, как они рассказывали, насили проехав на санях по лужам и земле те три версты, которые отделяли церковь от тетушкиного дома, приехали служить заутреню.

Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту заутреню, похристосовался с священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услышал в коридоре сборы Матрены Павловны, старей горничной Марьи Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы святить куличи и пасхи. «Поеду и я», – подумал он.

Дороги до церкви не было ни на колесах, ни на санях, и потому Нехлюдов, распорядившись, как дома, у тетушек, велел оседлать себе верхового, так называемого «братцева» жеребца и, вместо того чтобы лечь спать, оделся в блестящий мундир с обтянутыми рейтузами, надел сверху шинель и поехал на разъезвшемся, отяжелевшем и не перестававшем ржать старом жеребце, в темноте, по лужам и снегу, к церкви.

XV

Всю жизнь потом эта заутреня осталась для Нехлюдова одним из самых светлых и сильных воспоминаний.

Когда он в черной темноте, кое-где только освещаемой белеющим снегом, шлепая по воде, въехал на прядущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребце на церковный двор, служба уже началась.

Мужики, узнавши племянника Марьи Ивановны, проводили его на сухонькое, где слезть, взяли привязать его лошадь и провели его в церковь. Церковь была полна праздничным народом.

С правой стороны – мужики: старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых онучах и молодые в новых суконных кафтанах, подпоясанных яркими кушаками, в сапогах. Слева – бабы в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными, пестрыми юбками, в ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках, и серых кафтанах, и старинных поневах, и башмаках или новых лаптях стояли позади их; между теми и другими стояли нарядные с масляными головами дети. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков.

Нехлюдов прошел вперед. В середине стояла аристократия: помещик с женою и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа от амвона, позади помещицы, Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове.

Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с масляными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрерывное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: «Христос воскрес! Христос воскрес!» Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами.

Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал и сказал, проходя мимо нее:

– Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни.

Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо, и черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на Нехлюдове.

– Я знаю, – улыбнувшись, сказала она.

В это время дьячок, с медным кофейником пробираясь через народ, прошел мимо Катюши и, не глядя на нее, задел ее полой стихаря. Дьячок, очевидно, из уважения к Нехлюдову, обходя его, задел Катюшу. Нехлюдову же было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что все, что здесь да и везде на свете существует, существует только для Катюши и что пренебречь можно всем на свете, только не ею, потому что она – центр всего. Для нее блестело золото иконостаса и горели все свечи на паникадиле и в подсвечниках, для

нее были эти радостные напевы: «Пасха господня, радуйтесь, людие». И все, что только было хорошего на свете, все было для нее. И Катюша, ему казалось, понимала, что все это для нее. Так казалось Нехлюдову, когда он взглядывал на ее стройную фигуру в белом платье с складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь-в-точь то же, что поет в его душе, поет и в ее душе.

В промежутке между ранней и поздней обедней Нехлюдов вышел из церкви. Народ расступался перед ним и кланялся. Кто узнавал его, кто спрашивал: «Чей это?» На паперти он остановился. Нищие обступили его, он роздал ту мелочь, которая была в кошельке, и спустился со ступеней крыльца.

Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилах вокруг церкви рассеялся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее.

Народ все выходил и, стуча гвоздями сапогов по плитам, сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу.

Древний старик, кондитер Марьи Ивановны, с трясущейся головой, остановил Нехлюдова, похристосовался, и его жена, старушка с сморщенным кадычком под шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же подошел молодой улыбающийся мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке.

– Христос воскресе, – сказал он, смеясь глазами, и, продвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким, приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородкой, в самую середину губ три раза поцеловал его своими крепкими, свежими губами.

В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая черная головка с красным бантиком.

Она тотчас же через головы шедших перед ней увидела его, и он видел, как просияло ее лицо.

Они вышли с Матреной Павловной на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий, с красной, зажившей болячкой вместо носа, подошел к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвращения, напротив, так же радостно сияя глазами, три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились с взглядом Нехлюдова. Как будто она спрашивала: хорошо ли, так ли она делает?

«Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю».

Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней.

– Христос воскресе! – сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь, с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой платком, она потянулась к нему губами.

– Воистину, – отвечал Нехлюдов, целуясь.

Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему.

– Христос воскресе, Дмитрий Иванович.

– Воистину воскресе, – сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз, и оба улыбнулись.

– Вы не пойдете к священнику? – спросил Нехлюдов.

– Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим, – сказала Катюша, тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всею грудью и глядя ему прямо в глаза своими покорными, девственными, любящими, чуть-чуть косящими глазами.

В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения. Когда

он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье с складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевиые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему, – он знал это, – но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, – к тому нищему, с которым она поцеловалась.

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно.

Ах, если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь! «Да, все это ужасное дело сделалось уже после этой ночи светло Христова воскресения!» – думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.

XVI

Вернувшись из церкви, Нехлюдов разговелся с тетушками и, чтобы подкрепиться, по взятой в полку привычке, выпил водки и вина и ушел в свою комнату и тотчас же заснул одетый. Разбудил его стук в дверь. По стуку узнав, что это была она, он поднялся, протирая глаза и потягиваясь.

– Катюша, ты? Войди, – сказал он, вставая.

Она приоткрыла дверь.

– Кушать зовут, – сказала она.

Она была в том же белом платье, но без банта в волосах. Взглянув ему в глаза, она просияла, точно она объявила ему о чем-то необыкновенно радостном.

– Сейчас иду, – отвечал он, берясь за гребень, чтобы расчесать волосы.

Она постояла минутку лишнюю. Он заметил это и, бросив гребень, двинулся к ней. Но она в ту же минуту быстро повернулась и пошла своими обычно легкими и быстрыми шагами по полосухе коридора.

«Экий я дурак, – сказал себе Нехлюдов, – что же я не удержал ее?»

И он бегом догнал ее в коридоре.

Чего он хотел от нее, он сам не знал. Но ему казалось, что, когда она вошла к нему в комнату, ему нужно было сделать что-то, что все при этом делают, а он не сделал этого.

– Катюша, стой, – сказал он.

Она оглянулась.

– Что вы? – сказала она, приостанавливаясь.

– Ничего, только...

И, сделав усилие над собой и помня то, как в этих случаях поступают вообще все люди в его положении, он обнял Катюшу за талию.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза.

– Не надо, Дмитрий Иванович, не надо, – покраснев до слез, проговорила она и своей жесткой сильной рукой отвела обнимавшую ее руку.

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновение не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Ему бы надо было поверить себе, но он не понял, что эта неловкость и стыд были самые добрые чувства его души, просившиеся наружу, а, напротив, ему показалось, что это говорит в нем его глупость, что надо делать, как все делают.

Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя: один бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был страшен, и она почувствовала это.

– Что же это вы делаете? – вскрикнула она таким голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное, и побежала от него рысью.

Он пришел в столовую. Тетушки нарядные, доктор и соседка стояли у закуски. Все было так обыкновенно, но в душе Нехлюдова была буря. Он не понимал ничего из того, что ему говорили, отвечал невпопад и думал только о Катюше, вспоминая ощущение этого последнего поцелуя, когда он догнал ее в коридоре. Он ни о чем другом не мог думать. Когда она входила в комнату, он, не глядя на нее, чувствовал всем существом своим ее присутствие и должен был делать усилие над собой, чтобы не смотреть на нее.

После обеда он тотчас же ушел в свою комнату и в сильном волнении долго ходил по ней, прислушиваясь к звукам в доме и ожидая ее шагов. Тот животный человек, который жил в нем, не только поднял теперь голову, но затоптал себе под ноги того духовного человека, которым он был в первый приезд свой и даже сегодня утром в церкви, и этот страшный животный человек теперь властвовал один в его душе. Несмотря на то, что он не переставал караулить ее, ему ни

разу не удалось один на один встретить ее в этот день. Вероятно, она избегала его. Но к вечеру случилось так, что она должна была идти в комнату рядом с той, которую он занимал. Доктор остался ночевать, и Катюша должна была постлать постель гостю. Услыхав ее шаги, Нехлюдов, тихо ступая и сдерживая дыхание, как будто собираясь на преступление, вошел за ней.

Засунув обе руки в чистую наволочку и держа ими подушку за углы, она оглянулась на него и улыбнулась, но не веселой и радостной, как прежде, а испуганной, жалостной улыбкой. Улыбка эта как будто сказала ему, что то, что он делает, – дурно. На минуту он остановился. Тут еще была возможность борьбы. Хоть слабо, но еще слышен был голос истинной любви к ней, который говорил ему об ней, о ее чувствах, об ее жизни. Другой же голос говорил: смотри, пропустишь свое наслаждение, свое счастье. И этот второй голос заглушил первый. Он решительно подошел к ней. И страшное, неудержимое животное чувство овладело им.

Не выпуская ее из своих объятий, Нехлюдов посадил ее на постель и, чувствуя, что еще что-то надо делать, сел рядом с нею.

– Дмитрий Иванович, голубчик, пожалуйста, пустите, – говорила она жалобным голосом. – Матрена Павловна идет! – вскрикнула она, вырываясь, и действительно кто-то шел к двери.

– Так я приду к тебе ночью, – проговорил Нехлюдов. – Ты ведь одна?

– Что вы? Ни за что! Не надо, – говорила она только устами, но все взволнованное, смущенное существо ее говорило другое.

Подошедшая к двери действительно была Матрена Павловна. Она вошла в комнату с одеялом на руке и, взглянув укорительно на Нехлюдова, сердито выговорила Катюше за то, что она взяла не то одеяло.

Нехлюдов молча вышел. Ему даже не было стыдно. Он видел по выражению лица Матрены Павловны, что она осуждает его, и права, осуждая его, знал, что то, что он делает, – дурно, но животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им и царило одно, ничего другого не признавая. Он знал теперь, что надо делать для удовлетворения чувства, и отыскивал средство сделать это.

Весь вечер он был сам не свой: то входил к тетушкам, то уходил от них к себе и на крыльцо и думал об одном, как бы одну увидеть ее; но и она избегала его, и Матрена Павловна старалась не выпускать ее из вида.

XVII

Так прошел весь вечер, и наступила ночь. Доктор ушел спать. Тетушки улеглись, Нехлюдов знал, что Матрена Павловна теперь в спальне у теток и Катюша в девичьей – одна. Он опять вышел на крыльцо. На дворе было темно, сыро, тепло, и тот белый туман, который весной сгоняет последний снег или распространяется от тающего последнего снега, наполнял весь воздух. С реки, которая была в ста шагах под кручью перед домом, слышны были странные звуки: это ломался лед.

Нехлюдов сошел с крыльца и, шагая через лужи по оледеневшему снегу, обошел к окну девичьей. Сердце его колотилось в груди так, что он слышал его; дыхание то останавливалось, то вырывалось тяжелым вздохом. В девичьей горела маленькая лампа. Катюша одна сидела у стола, задумавшись, и смотрела перед собой. Нехлюдов долго, не шевелясь, смотрел на нее, желая узнать, что она будет делать, полагая, что никто не видит ее. Минуты две она сидела неподвижно, потом подняла глаза, улыбнулась, покачала как бы на самое себя укоризненно головой и, переменяв положение, порывисто положила обе руки на стол и устремила глаза перед собой.

Он стоял и смотрел на нее и невольно слушал вместе и стук своего сердца, и странные звуки, которые доносились с реки. Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная, медленная работа, и то сопело что-то, то трещало, то обсыпалось, то звенели, как стекло, тонкие льдины.

Он стоял, глядя на задумчивое, мучимое внутренней работой лицо Катюши, и ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вождеделение к ней.

Вождеделение владело им всем.

Он стукнул в окно. Она, как бы от электрического удара, вздрогнула всем телом, и ужас изобразился на ее лице. Потом вскочила, подошла к окну и придвинула свое лицо к стеклу. Выражение ужаса не оставило ее лица и тогда, когда, приложив обе ладони, как шоры, к глазам, она узнала его. Лицо ее было необыкновенно серьезно, – он никогда не видал его таким. Она улыбнулась, только когда он улыбнулся, улыбнулась, только как бы покоряясь ему, но в душе ее не было улыбки, – был страх. Он сделал ей знак рукою, вызывая ее на двор к себе. Но она помахала головой, что нет, не выйдет, и осталась стоять у окна. Он приблизил еще раз лицо к стеклу и хотел крикнуть ей, чтобы она вышла, но в это время она обернулась к двери, – очевидно, ее позвал кто-то. Нехлюдов отошел от окна. Туман был так тяжел, что, отойдя на пять шагов от дома, уже не было видно его окон, а только чернеющая масса, из которой светил красный, кажущийся огромным свет от лампы. На реке шло то же странное сопенье, шуршанье, треск и звон льда. Недалеко из тумана во дворе прокричал один петух; отозвались близко другие, и издали с деревни послышались перебивающие друг друга и сливающиеся в одно петушьи крики. Все же кругом, кроме реки, было совершенно тихо. Это были уже вторые петухи.

Пройдя раза два взад и вперед за углом дома и попав несколько раз ногою в лужу, Нехлюдов опять подошел к окну девичьей. Лампа все еще горела, и Катюша опять сидела одна у стола, как будто была в нерешительности. Только что он подошел к окну, она взглянула в него. Он стукнул. И, не рассматривая, кто стукнул, она тотчас же выбежала из девичьей, и он слышал, как отлипла и потом скрипнула выходная дверь. Он ждал ее уже у сеней и тотчас же молча обнял ее. Она прижалась к нему, подняла голову и губами встретила его поцелуй. Они стояли за углом сеней на стаявшем сухом месте, и он весь был полон мучительным, неудовлетворенным желанием. Вдруг опять так же чмокнула и с тем же скрипом скрипнула выходная дверь, и послышался сердитый голос Матрены Павловны:

– Катюша!

Она вырвалась от него и вернулась в девичью. Он слышал, как захлопнулся крючок. Вслед за этим все затихло, красный глаз в окне исчез, остался один туман и возня на реке.

Нехлюдов подошел к окну, – никого не видно было. Он постучал, – ничто не ответило ему. Нехлюдов вернулся в дом с парадного крыльца, но не заснул. Он снял сапоги и босиком пошел по коридору к ее двери, рядом с комнатой Матрены Павловны. Сначала он слышал, как спокойно храпела Матрена Павловна, и он хотел уже войти, как вдруг она стала кашлять и повернулась на скрипучей постели. Он замер и простоял так минут пять. Когда опять все затихло и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхания. Но как только он прошептал: «Катюша!» – она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти.

– На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки, – говорили ее уста, а все существо говорило: «Я вся твоя».

И это только понимал Нехлюдов.

– Ну, на минутку отвори. Умоляю тебя, – говорил он бессмысленные слова.

Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок шелкнул, и он проник в отворенную дверь.

Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес.

– Ах! Что вы? – шептала она.

Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе.

– Ах, не надо, пустите, – говорила она, а сама прижималась к нему.

.....

Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло.

На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон и сопенье льдин еще усилились, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное.

«Что же это: большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» – спрашивал он себя. «Всегда так, все так», – сказал он себе и пошел спать.

XVIII

На другой день блестящий, веселый Шенбок заехал за Нехлюдовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Щедрость его хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль, на чай людям он роздал пятнадцать рублей, и когда Сюжетка, болонка Софьи Ивановны, при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок (Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше пятнадцати рублей дюжина) и сделал из него бинты для Сюжетки. Тетушки не видели еще таких и не знали, что у этого Шенбока было двести тысяч долгу, которые – он знал – никогда не заплатятся, и что поэтому двадцать пять рублей меньше или больше не составляли для него расчета.

Шенбок пробыл только один день и в следующую ночь уехал вместе с Нехлюдовым. Они не могли дольше оставаться, так как был уже последний срок для явки в полк.

В душе Нехлюдова в этот последний проведенный у тетушек день, когда свежо было воспоминание ночи, поднимались и боролись между собой два чувства: одно – жгучие, чувственные воспоминания животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели; другое – сознание того, что им сделано что-то очень дурное и что это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя.

В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе – о том, осудят ли его и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она испытывает и что с ней будет.

Он думал, как Шенбок догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию.

– То-то ты так вдруг полюбил тетушек, – сказал ему Шенбок, увидав Катюшу, – что неделю живешь у них. Это и я на твоём месте не уехал бы. Прелесть!

Он думал еще и о том, что, хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно бы было поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег, не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому, что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. Он и дал ей эти деньги, – столько, сколько считал приличным по своему и ее положению.

В день отъезда, после обеда, он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью, но он удержал ее.

– Я хотел проститься, – сказал он, комкая в руке конверт с сторублевой бумажкой. – Вот я...

Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку.

– Нет, возьми, – пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и, точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату.

И долго после этого он все ходил по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену.

«Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал, так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, когда он жил в деревне и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который и теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо». Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть.

В глубине, в самой глубине души он знал, что поступил так скверно, подло, жестоко, что ему, с сознанием этого поступка, нельзя не только самому осуждать кого-нибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким для того, чтобы продолжать бодро и весело жить. А для этого было одно средство: не думать об этом. Так он и сделал.

Та жизнь, в которую он вступал, – новые места, товарищи, война, – помогли этому. И чем больше он жил, тем больше забывал и под конец действительно совсем забыл.

Только один раз, когда после войны, с надеждой увидеть ее, он заехал к тетушкам и узнал, что Катюши уже не было, что она скоро после его проезда отошла от них, чтобы родить, что где-то родила и, как слышали тетки, совсем испортилась, – у него защемило сердце. По времени ребенок, которого она родила, мог быть его ребенком, но мог быть и не его. Тетушки говорили, что она испортилась и была развращенная натура, такая же, как и мать. И это суждение тетушек было приятно ему, потому что как будто оправдывало его. Сначала он все-таки хотел разыскать ее и ребенка, но потом, именно потому, что в глубине души ему было слишком больно и стыдно думать об этом, он не сделал нужных усилий для этого разыскания и еще больше забыл про свой грех и перестал думать о нем.

Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось все и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед всеми.

XIX

В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая курил.

Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца Смелькова.

– Ну, брат, здорово кутил, по-сибирски. Тоже губа не дура, такую девчонку облюбовал.

Старшина высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Петр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нехлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного – чтобы его оставили в покое.

Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели в суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому должно быть совестно смотреть в глаза людям, а между тем он по привычке с обычными, самоуверенными движениями вошел на возвышение и сел на свое место, вторым после старшины, заложив ногу на ногу и играя *pinse-nez*.

Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять.

В зале были новые лица – свидетели, и Нехлюдов заметил, что Маслова несколько раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шелку и бархате, толстой женщины, которая, в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным ридикюлем на голой до локтя руке, сидела в первом ряду перед решеткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором жила Маслова.

Начался допрос свидетелей: имя, вера и т. д. Потом, после допроса сторон, как они хотят спрашивать: под присягой или нет, опять, с трудом передвигая ноги, пришел тот же старый священник и опять так же, поправляя золотой крест на шелковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает вполне полезное и важное дело, привел к присяге свидетелей и эксперта. Когда кончилась присяга, всех свидетелей увели, оставив одну, именно Китаеву, хозяйку дома терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китаева с притворной улыбкой, ныряя головой в шляпе при каждой фразе, с немецким акцентом подробно и складно рассказала.

Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой для богатого сибирского купца. Она послала Любашу. Через несколько времени Любаша вернулась вместе с купцом.

– Купец был уже в экстазе, – слегка улыбаясь, говорила Китаева, – и у нас продолжал пить и угощать девушек; но так как у него не достало денег, то он послал к себе в номер эту самую Любашу, к которой он получил предилекция, – сказала она, взглянув на подсудимую.

Нехлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство гадливости, смешанное с состраданием, поднялось в нем.

– А какого вы были мнения о Масловой? – краснея и робея, спросил назначенный от суда кандидат на судебную должность, защитник Масловой.

– Самый хороший, – отвечала Китаева, – девушка образованный и шикарна. Он воспитывался в хороший семейство и по-французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хороший девушка.

Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных, и остановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотрящие глаза смотрели на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его ужас, он не мог отвести и своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем

ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное. Эти два черные глаза, смотревшие и на него и мимо него, напоминали ему это что-то черное и страшное.

«Узнала!» – подумал он. И Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул тоже. «Ах, скорее бы», – думал он. Он испытывал теперь чувство, подобное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую птицу: и гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в ягдташе: и противно, и жалко, и хочется поскорее добить и забыть.

Такое смешанное чувство испытывал теперь Нехлюдов, слушая допрос свидетелей.

XX

Но, как назло ему, дело тянулось долго: после допроса поодиночке свидетелей и эксперта и после всех, как обыкновенно, делаемых с значительным видом ненужных вопросов от товарища прокурора и защитников, председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, очевидно надевавшегося на толстейший указательный палец, кольца с розеткой из брильянтов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и на них были ярлычки.

Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять поднялся и потребовал, прежде рассматривания вещественных доказательств, прочтения врачебного исследования трупа.

Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь никакого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавящим на буквы л и р унылым голосом начал читать:

– «По наружному осмотру оказывалось, что:

1) Рост Ферапонта Смелькова – 2 аршина 12 вершков».

– Однако мужчина здоровенный, – озабоченно прошептал купец на ухо Нехлюдову.

– «2) Лета по наружному виду определялись приблизительно около сорока.

3) Вид трупа был вздутый.

4) Цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами.

5) Кожица по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов.

6) Волосы темно-русые, густые и при дотрагивании легко отстают от кожи.

7) Глаза вышли из орбит, и роговая оболочка потускнела.

8) Из отверстий носа, обеих ушей и полости рта вытекает пенная сукровичная жидкость, рот полуоткрыт.

9) Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди».

И т. д., и т. д.

На четырех страницах по двадцати семи пунктам шло таким образом описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распухшего, разлагающегося трупа веселившегося в городе купца. Чувство неопределенной гадливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усилилось при чтении этого описания трупа. Жизнь Катюши, и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшие из орбит глаза, и его поступок с нею – все это, казалось ему, были предметы одного и того же порядка, и он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами. Когда кончилось наконец чтение наружного осмотра, председатель тяжело вздохнул и поднял голову, надеясь, что кончено. Но секретарь тотчас же начал читать описание внутреннего осмотра.

Председатель опять опустил голову и, опершись на руку, закрыл глаза. Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался; подсудимые, так же как и жандармы за ними, сидели неподвижно.

– «По внутреннему осмотру оказывалось, что:

1) Кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровоподтеков нигде не было замечено.

2) Кости черепа средней толщины и целы.

3) На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных пятна, величиной приблизительно в четыре дюйма, сама оболочка представляется бледно-матового цвета», – и т. д., и т. д., еще тринадцать пунктов.

Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в желудке и отчасти в кишках и почках дают право заключить с большой степенью вероятности, что смерть Смелкова последовала от отравления ядом, попавшим ему в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, какой именно яд был введен в желудок, – трудно; о том же, что яд этот попал в желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелкова найдено большое количество вина.

– Видно, здоров пить был, – опять прошептал очнувшийся купец.

Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило, однако, товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему:

– Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей.

– Я бы просил прочесть эти исследования, – строго сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не отступится, и отказ будет поводом кассации.

Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю:

– И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы не чище, а дольше метут.

Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед собой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего.

Чтение акта началось.

– «188* года февраля 15-го дня я, нижеподписавшийся, по поручению врачебного отделения, за № 638-м, – опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих, секретарь, – в присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследование внутренностей:

- 1) Правого легкого и сердца (в шестифунтовой стеклянной банке).
- 2) Содержимого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).
- 3) Самого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).
- 4) Печени, селезенки и почек (в трехфунтовой стеклянной банке).
- 5) Кишок (в шестифунтовой глиняной банке)».

Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и пошептал что-то, потом к другому и, получив утвердительный ответ, перервал чтение в этом месте.

– Суд признает излишним чтение акта, – сказал он. Секретарь замолк, собирая бумаги, товарищ прокурора сердито стал записывать что-то.

– Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказательства, – сказал председательствующий.

Старшина и некоторые из присяжных приподнялись и, затрудняясь тем движением или положением, которое они должны придать своим рукам, подошли к столу и поочередно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо.

– Ну и палец был, – сказал он, возвратившись на свое место. – Как огурец добрый, – прибавил он, очевидно забавляясь тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.

XXI

Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить и обедать и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.

– Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели, – начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, – характерное, если можно так выразиться, преступление.

Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости так же начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать в глубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества.

– Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса...

Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжение часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюны, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным голосом, обращая то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство.

Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал.

Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права, человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Евфимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декадентства.

– Женщина эта, – говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, – получила образование, – мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски, она, сирота, вероятно несущая в себе зародыши преступности, была

воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом; но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко – богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни.

– Ну, уж это он, кажется, зарাপортовался, – сказал, улыбаясь, председатель, склоняясь к строгому члену.

– Ужасный болван, – сказал строгий член.

– Господа присяжные заседатели, – продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора, – в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто гибели.

И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой стул.

Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие, и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Евфимьей, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его.

После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди, и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за триста рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову.

Он отвергал показание Масловой о том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показание ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. Деньги, две тысячи пятьсот рублей, говорил адвокат, могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по три и пять рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова.

Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невинными в похищении денег; если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения.

В заключение адвокат в пику товарища прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей.

Товарищ прокурора сердито, как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами.

Потом встал защитник Масловой и робко, запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелкова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречия, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения, но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда

он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела.

После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым (он особенно ядовито сказал: воображаемым) соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел.

Потом предложено было подсудимым оправдываться.

Евфимья Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз:

– Воля ваша, а только безвинно, напрасно.

Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая.

– Вы что? – спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услышав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание.

Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанное рыдание и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел рinсе-pez, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться.

Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего.

XXII

После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме.

Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с приятной домашней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину – о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство.

Несмотря на то что ему самому хотелось поскорее отделаться и швейцарка уже ждала его, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными; если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными; если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела.

– Обстоятельства дела этого следующие, – начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями.

Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошею, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинною. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме.

Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить – так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса – и нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они – совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и т. д., и т. д.

С тех пор как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и не переставая смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно не виденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад, исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности.

Это самое происходило в Нехлюдове.

Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была несомненно та самая Катюша, которая в светло Христово воскресение так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами.

«И такая удивительная случайность! Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее десять лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых! И чем все это кончится? Поскорей, ах, поскорей бы!»

Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них; но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим *ripse-pez*, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти двенадцать лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее.

XXIII

Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать с своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели.

Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.

– Девчонка не виновата, запуталась, – сказал добродушный купец, – надо снисхождение дать.

– Вот это и обсудим, – сказал старшина. – Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям.

– Хорошо резюме сказал председатель, – заметил полковник.

– Ну, хорошо! Я чуть не заснул.

– Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна, – сказал приказчик еврейского типа.

– Так что же, по-вашему, она украла? – спросил один из присяжных.

– Ни за что не поверю, – закричал добродушный купец, – а все это шельма красноглазая нашкодила.

– Все хороши, – сказал полковник.

– Да ведь она говорит, что не входила в номер.

– А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы.

– Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы, – сказал приказчик.

– Ключ у нее был.

– Что ж, что у ней? – возражал купец.

– А перстень?

– Да ведь она сказывала, – опять закричал купец, – купчина карактерный, да еще выпивши, вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой: слышал, я чай, двенадцать вершков, пудов-от восьми!

– Не в том дело, – перебил Петр Герасимович, – вопрос в том: она ли подговорила и затеяла все дело или прислуга?

– Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был.

Несвязная беседа шла довольно долго.

– Да позвольте, господа, – сказал старшина, – сядемте за стол и обсудимте. Пожалуйте, – сказал он, садясь на председательское место.

– Тоже мерзавки эти девчонки, – сказал приказчик и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища.

Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.

– Господа, прошу по вопросам, – сказал старшина, постукивая карандашом по столу.

Все замолкли. Вопросы эти были выражены так:

1) Виновен ли крестьянин села Борков, Крапивенского уезда Симон Петров Картинкин, тридцати трех лет, в том, что 17-го января 188* года в городе N., замыслив лишить жизни купца

Смелькова, с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около двух тысяч пятисот рублей и брильянтовый перстень?

2) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе мещанка Евфимия Иванова Бочкова, сорока трех лет?

3) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, двадцати семи лет?

4) Если подсудимая Евфимия Бочкова не виновна по первому вопросу, то не виновна ли она в том, что 17-го января 188* года в городе N., состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, две тысячи пятьсот рублей денег, для чего отперла чемодан на месте принесенным и подобранным ею ключом?

Старшина прочел первый вопрос.

– Ну как, господа?

На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить: «Да, виновен», – признав его участником и отравления и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания.

Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны, но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», – сказал он и так и остался при своем мнении.

На второй вопрос о Бочковой, после долгих толков и разъяснений, ответили: «Не виновна», – так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат.

Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало.

На четвертый вопрос о Бочковой же ответили: «Да, виновна», – и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения».

Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении и в грабеже, купец не соглашался и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик, – остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех.

По всему тому, что происходило на судебном следствии, и по тому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она не виновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это; но когда он увидел, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины и, главное, вследствие усталости всех решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову, – ему казалось, что все сейчас узнают его отношения к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.

– Позвольте, – сказал он, – вы говорите, что она украла потому, что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?

– Ну да, ну да, – поддакивал купец.

– Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их.

– Вот и я говорю, – подтвердил купец.

– А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее.

Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщила старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение, но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.

– Дала, но думала, что это опиум, – сказал купец.

– Она и опиумом могла лишить жизни, – сказал полковник, любивший вдаваться в отступления, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.

– Так привыкают другие, – начал он, – что могут сорок капель принимать; у меня родственник...

Но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его шурина.

– Да ведь уже пятый час, господа, – сказал один из присяжных.

– Так как же, господа, – обратился старшина, – признаем виновной без умысла ограбления, и имущества не похищала. Так, что ли?

Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.

– Но заслуживает снисхождения, – прибавил купец. Все согласилось. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, не виновна».

– Да ведь оно так и выходит, – разъяснил старшина, – без умысла ограбления, и имущества не похищала. Стало быть, и не виновна.

– Валяй так, и заслуживает снисхождения: значит, что останется, последнее счистить, – весело проговорил купец.

Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: да, но без намерения лишить жизни.

Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда.

Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости: чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик.

Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласилось, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать: «Да, виновна, но без намерения лишить жизни»; во-вторых, потому, что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего шурина; в-третьих, потому, что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка: «Без умысла ограбления» – уничтожает обвинение; в-четвертых, потому, что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы, и, главное, потому, что все устали и всем хотелось скорей освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей кончается.

Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные.

Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие: «Без умысла ограбления», не оговорили второго: «Без намерения лишить жизни». Выходило, по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели.

– Посмотрите, какую они нелепость вынесли, – сказал он члену налево. – Ведь это каторжные работы, а она не виновата.

– Ну как не виновата, – сказал строгий член.

– Да просто не виновата. По-моему, это случай применения восьмьсот восемнадцатой статьи. (818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных.)

– Как вы думаете? – обратился председатель к доброму члену.

Добрый член не сразу ответил, он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры, – не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится, но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился.

– Я думаю тоже, что следовало бы, – сказал он.

– А вы? – обратился председатель к сердитому члену.

– Ни в каком случае, – отвечал он решительно. – И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников; что же заговорят, когда суд оправдает. Я не согласен ни в каком случае.

Председатель посмотрел на часы.

– Жаль, но что же делать, – и подал вопросы старшине для прочтения.

Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские: секретарь, адвокаты, даже прокурор, выразили удивление.

Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых.

Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал:

– Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452-й и 4 пункта 1453, Евфимию Бочкову на основании статьи 1659-й и Екатерину Маслову на основании статьи 1454-й.

Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить.

– Суд удалится для постановления решения, – сказал председатель, вставая.

Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале.

– А ведь мы, батюшка, постыдно наврали, – сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. – Ведь мы ее в каторгу закатали.

– Что вы говорите? – вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.

– Да как же, – сказал он. – Мы не поставили в ответе: «Виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под пятнадцать лет каторги.

– Да ведь так решили, – сказал старшина.

Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.

– Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить, – оправдывался старшина. – Никто не возражал.

– Я в это время выходил из комнаты, – сказал Петр Герасимович. – А вы-то как прозевали?

– Я никак не думал, – сказал Нехлюдов.

– Вот и не думали.

– Да это можно поправить, – сказал Нехлюдов.

– Ну, нет, теперь кончено.

Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то. И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней; и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней: недобитая птица перестала бы трепаться в ягдташе и напоминать о себе.

XXIV

Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел:

– «188* года апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружный суд, по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства, определил: крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы: Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье Уложения. Мещанку же Евфимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье Уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить».

Картинкин стоял, так же вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова багрово покраснела.

– Не виновата я, не виновата! – вдруг на всю залу вскрикнула она. – Грех это. Не виновата я. Не хотела, не думала. Верно говорю. Верно. – И, опустившись на лавку, она громко зарыдала.

Когда Картинкин и Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.

«Нет, это невозможно так оставить», – проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство, и, сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидеть председателя, но председатель уже ушел.

Нехлюдов нагнал его только в швейцарской.

– Господин председатель, – сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку с серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром, – могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я – присяжный.

– Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались, – сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал – лучше всех молодых – в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. – Чем могу служить?

– Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге, – с сосредоточенно мрачным видом сказал Нехлюдов.

– Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же, – сказал председатель, подвигаясь к выходной двери, – хотя ответы и суду показались несоответственными делу.

Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ: «Да – виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого.

– Да, но разве нельзя поправить ошибку?

– Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам, – сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.

– Но ведь это ужасно.

– Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух, – очевидно желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто, и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал: – Вы ведь тоже идете?

– Да, – сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним.

Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.

– Положение, извольте видеть, странное, – продолжал председатель, возвышая голос, – тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух: или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест, или каторга, – середины нет. Если бы вы прибавили слова: «Но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана.

– Я непростительно упустил это, – сказал Нехлюдов.

– Вот в этом все дело, – улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы.

Оставалось только три четверти часа до последнего срока, назначенного Кларой.

– Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти. На Дворянскую, – отвечал он извозчику, – тридцать копеек, никогда больше не плачу.

– Ваше превосходительство, пожалуйста.

– Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова, на Дворянской, легко запомнить.

И он, ласково поклонившись, уехал.

XXV

Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведенного в таких непривычных условиях.

«Разумеется, удивительное и поразительное совпадение! И необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь, и сделать это скорее. Сейчас же. Да, надо тут, в суде, узнать, где живет Фанарин или Микишин». Он вспомнил двух известных адвокатов.

Нехлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошел наверх. В первом же коридоре он встретил Фанарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фанарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать все приятное.

– Хотя я и устал... но если недолго, то скажите мне ваше дело, – пойдете сюда.

И Фанарин ввел Нехлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-нибудь судьи. Они сели у стола.

– Ну-с, в чем дело?

– Прежде всего я буду вас просить, – сказал Нехлюдов, – о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле.

– Ну, это само собой разумеется. Итак...

– Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжные работы – невинную. Меня это мучает.

Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся. Фанарин блеснул на него глазами и опять опустил их, слушая.

– Ну-с, – только проговорил он.

– Осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию.

– В сенат, – поправил Фанарин.

– И вот я прошу вас взяться за это.

Нехлюдов хотел кончить поскорее самое трудное и потому тут же сказал:

– Вознаграждение, расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были, – сказал он, краснея.

– Ну, это мы условимся, – снисходительно улыбаясь его неопытности, сказал адвокат. – В чем же дело?

Нехлюдов рассказал.

– Хорошо-с, завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра, нет, в четверг, приезжайте ко мне в шесть часов вечера, и я дам вам ответ. Так так? Ну и пойдете, мне еще тут нужны справки.

Нехлюдов простился с ним и вышел.

Беседа с адвокатом и то, что он принял уже меры для защиты Масловой, еще более успокоили его. Он вышел на двор. Погода была прекрасная, он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком, и тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше и об его поступке с ней закружились в его голове. И ему стало уныло и все показалось мрачно. «Нет, это я обдумаю после, – сказал он себе, – а теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений».

Он вспомнил об обеде Корчагиных и взглянул на часы. Было еще не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в нее. На площади он соскочил, взял хорошего извозчика и через десять минут был у крыльца большого дома Корчагиных.

XXVI

– Пожалуйте, ваше сиятельство, ожидают, – сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях дубовую дверь подъезда. – Кушают, только вас велено просить.

Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх.

– Кто-нибудь есть? – спросил Нехлюдов, раздеваясь.

– Господин Колосов да Михаил Сергеевич; а то все свои, – отвечал швейцар.

С лестницы выглянул красавец лакей во фраке и белых перчатках.

– Пожалуйте, ваше сиятельство, – сказал он. – Приказано просить.

Нехлюдов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходившей из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин; рядом с ним, с левой стороны, доктор, с другой – гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина; потом с левой стороны – miss Редер, гувернантка маленькой сестры Мисси, и сама четырехлетняя девочка; с правой, напротив, – брат Мисси, единственный сын Корчагиных, гимназист VI класса, Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе, еще студент-репетитор; потом слева – Катерина Алексеевна, сорокалетняя девица-славянофилка; напротив – Михаил Сергеевич, или Миша Телегин, двоюродный брат Мисси, и внизу стола сама Мисси и подле нее нетронутый прибор.

– Ну вот и прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой, – с трудом и осторожно жуя вставными зубами, проговорил старик Корчагин, поднимая на Нехлюдова налитые кровью без видимых век глаза. – Степан, – обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор.

Хотя Нехлюдов хорошо знал и много раз и за обедом видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо с чувственными смакующими губами над заложеной за жилет салфеткой и жирная шея, главное – вся эта упитанная генеральская фигура. Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает для чего, – так как он был богат и знатен и ему не нужно было выслуживаться, – сек и даже вешал людей, когда был начальником края.

– Сию минуту подадут, ваше сиятельство, – сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с Мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмальной с торчащим гербом салфеткой.

Нехлюдов обошел весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хотя с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между Мисси и Катериной Алексеевной, но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола, на котором были омары, икра, сыры, селедки. Нехлюдов не ожидал того, что он так голоден, но, начавши есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел.

– Ну, что же, подрывали основы? – сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восстававшей против суда присяжных. – Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?

– Подрывали основы... Подрывали основы... – повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга.

Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать.

– Дайте же ему поесть, – улыбаясь, сказала Мисси, этим местоимением «ему» напоминая свою с ним близость.

Колосов между тем бойко и громко рассказывал содержание возмущившей его статьи против суда присяжных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты.

Мисси, как всегда, была очень *distinguée*⁶ и хорошо, незаметно хорошо, одета.

– Вы, должно быть, страшно устали, голодны, – сказала она Нехлюдову, дождавшись, чтоб он прожевал.

– Нет, не особенно. А вы? ездили смотреть картины? – спросил он.

– Нет, мы отложили. А мы были на *lawn tennis*⁷ у Саламатовых. И действительно, мистер Крукс удивительно играет.

Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, которая приятно действовала на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же, удивительное дело, все в этом доме было противно ему – все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола до самой Мисси, которая нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был и этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова, неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина, неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны, неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора, особенно неприятно было местоимение «ему», сказанное о нем... Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к Мисси: то он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, видел в ней все прекрасное: она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна... А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, видел, не мог не видеть того, чего доставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца.

– Прескучная игра, – сказал Колосов о теннисе, – гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве.

– Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно, – возразила Мисси, особенно ненатурально произнося слово «страшно», как показалось Нехлюдову.

И начался спор, в котором приняли участие и Михаил Сергеевич и Катерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали.

– Вечно спорят! – громко хохоча, проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из-за жилета, и, гремя стулом, который тотчас же подхватил лакей, встал из-за стола. За ним встали и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы и налита была теплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали никому не интересный разговор.

– Не правда ли? – обратилась Мисси к Нехлюдову, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем, и хотела узнать, чем оно вызвано.

– Право, не знаю, я никогда не думал об этом, – отвечал Нехлюдов.

– Пойдемте к мамá? – спросила Мисси.

– Да, да, – сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти.

⁶ Изящна (*фр.*).

⁷ Теннисе (*англ.*).

Она молча, вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку», – подумал он о себе и, стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдет, если княгиня примет.

– Да, да, мамá будет рада. Курить и там можете. И Иван Иванович там.

Хозяйка дома, княгиня Софья Васильевна, была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала, в кружевах и лентах, среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только «своих друзей», то есть все то, что, по ее мнению, чем-нибудь выделялось из толпы. Нехлюдов был принимаем в числе этих друзей и потому, что он считался умным молодым человеком, и потому, что его мать была близким другом семьи, и потому, что хорошо бы было, если бы Мисси вышла за него.

Комната княгини Софьи Васильевны была за большою и маленькой гостиными. В большой гостиной Мисси, шедшая впереди Нехлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика, посмотрела на него.

Мисси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошая партия. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее (не она будет его, а он ее), и она с бессознательной, но упорной хитростью, такую, какая бывает у душевнобольных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение.

– Я вижу, что с вами случилось что-то, – сказала она. – Что с вами?

Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел.

– Да, случилось, – сказал он, желая быть правдивым, – и странное, необыкновенное и важное событие.

– Что же? Вы не можете сказать, что?

– Не могу теперь. Позвольте не говорить. Случилось то, что я еще не успел вполне обдумать, – сказал он и покраснел еще более.

– И вы не скажете мне? – Мускул на лице ее дрогнул, и она двинула стульчиком, за который держалась.

– Нет, не могу, – отвечал он, чувствуя, что, отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное.

– Ну так пойдете.

Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперед более быстрым, чем обыкновенно, шагом.

Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего, и он молча дошел с ней до кабинета княгини.

XXVII

Княгиня Софья Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отпращивании. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила пахитоску. Княгиня Софья Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами.

Говорили дурное про ее отношения с доктором. Нехлюдов прежде забывал это, но нынче он не только вспомнил, но, когда он увидел у ее кресла доктора с его намавленной, лоснящейся раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно.

Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помещивал кофе. На столике стояла рюмка ликера.

Мисси вошла вместе с Нехлюдовым к матери, но не осталась в комнате.

– Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне, – сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову таким тоном, как будто ничего не произошло между ними, и, весело улыбувшись, неслышно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты.

– Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте, – сказала княгиня Софья Васильевна с своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную, улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие. – Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем, – сказала она по-французски.

– Да, это правда, – сказал Нехлюдов, – часто чувствуешь свою не... чувствуешь, что не имеешь права судить...

– *Comme c'est vrai*⁸, – как будто пораженная истинностью его замечания, воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику.

– Ну, а что же ваша картина, она очень интересует меня, – прибавила она. – Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас.

– Я совсем оставил ее, – сухо отвечал Нехлюдов, которому нынче неправдивость ее лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным.

– Напрасно! Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант, – сказала она, обращаясь к Колосову.

«Как ей не совестно так врать», – хмурясь, думал Нехлюдов.

Убедившись, что Нехлюдов не в духе и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его суждений, пыталась защищать автора драмы, но тотчас же или сдавалась, или находила среднее. Нехлюдов смотрел и слушал и видел и слышал совсем не то, что было перед ним.

Слушая то Софью Васильевну, то Колосова, Нехлюдов видел, во-первых, что ни Софье Васильевне, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга, а что если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла; во-вторых, то, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян, не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормаль-

⁸ Как это верно (*фр.*).

ном, возбужденно-довольном собою состоянии; в-третьих, Нехлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно, через которое до нее начинал доходить косою луч солнца, который мог слишком ярко осветить ее старость.

– Как это верно, – сказала она про какое-то замечание Колосова и пожалала в стене у кушетки пуговку звонка.

В это время доктор встал и, как домашний человек, ничего не говоря, вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор.

– Пожалуйста, Филипп, опустите эту гардину, – сказала она, указывая глазами на гардину окна, когда на звонок ее вошел красавец лакей.

– Нет, как ни говорите, в нем есть мистическое, а без мистического нет поэзии, – говорила она, одним черным глазом сердито следя за движениями лакея, который опускал гардину.

– Мистицизм без поэзии – суеверие, а поэзия без мистицизма – проза, – сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гардину.

– Филипп, вы не ту гардину, – у большого окна, – страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно жалеющая себя за те усилия, которые ей нужно было сделать, чтобы выговорить эти слова, и тотчас же для успокоения поднося ко рту рукой, покрытой перстнями, пахучую дымящуюся пахитоску.

Широкогрудый, мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и, слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорно и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал так расправлять гардину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме и поправить непонятливого и безжалостно тревожащего ее Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонек.

«А черт тебя разберет, что тебе нужно, – вероятно, внутренне проговорил он», – подумал Нехлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывала ему изможденная, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна.

– Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина, – говорил Колосов, развалившись на низком кресле, сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну, – но он переходит границы. Да.

– А вы верите в наследственность? – спросила княгиня Софья Васильевна Нехлюдова, тяготясь его молчанием.

– В наследственность? – переспросил Нехлюдов. – Нет, не верю, – сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его.

Софья Васильевна смерила его глазами.

– Однако Мисси вас ждет, – сказала она. – Подите к ней, она хотела вам сыграть новую вещь Шумана... Очень интересно.

«Ничего она не хотела играть. Все это она для чего-то врет», – подумал Нехлюдов, вставая и пожимая прозрачную, костлявую, покрытую перстнями руку Софьи Васильевны.

В гостиной его встретила Катерина Алексеевна и тотчас же заговорила.

– Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе, – сказала она, как всегда, по-французски.

– Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску, – сказал Нехлюдов.

– Отчего вы не в духе?

– Позвольте мне не говорить отчего, – сказал он, отыскивая свою шляпу.

– А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды? Отчего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, Мисси? – обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним Мисси.

– Оттого, что то была игра, – ответил Нехлюдов серьезно. – В игре можно. А в действительности мы так дурны, то есть я так дурен, что мне, по крайней мере, говорить правды нельзя.

– Не поправляйтесь, а лучше скажите, чем же мы так дурны, – сказала Катерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьезности Нехлюдова.

– Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе, – сказала Мисси. – Я никогда не признаюсь в этом себе и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне. Мы постараемся разогнать вашу *mauvaise humeur*⁹.

Нехлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше чем когда-нибудь было неприятно возить. Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Мисси дольше обыкновенного удержала его руку.

– Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей, – сказала она. – Завтра приедете?

– Едва ли, – сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал, за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел.

– Что такое? *Comme cela m'intrigue*¹⁰, – говорила Катерина Алексеевна, когда Нехлюдов ушел. – Я непременно узнаю. Какая-нибудь *affaire d'amour-propre: il est très; susceptible, notre cher Митя*¹¹.

«*Plutôt; t une affaire d'amour sale*»¹², – хотела сказать и не сказала Мисси, глядя перед собой с совершенно другим, потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него, но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура дурного тона, а сказала только:

– У всех нас бывают и дурные и хорошие дни.

«Неужели и этот обманет, – подумала она. – После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны».

Если бы Мисси должна была объяснить, что она разумеет под словами: «после всего, что было», она не могла бы ничего сказать определенного, а между тем она несомненно знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были не определенные слова, но взгляды, улыбки, намеки, умолчания. Но она все-таки считала его своим, и лишиться его было для нее очень тяжело.

⁹ Дурное настроение (*фр.*).

¹⁰ Как это меня занимает (*фр.*).

¹¹ Какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие; он очень обидчив, наш дорогой Митя (*фр.*).

¹² Скорее дело, в котором замешана грязная любовь (*фр.*).

XXVIII

«Стыдно и гадко, гадко и стыдно», – думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею: он ничего не сказал ей такого, что бы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно, – повторял он себе не об одних отношениях к Мисси, но обо всем. – Все гадко и стыдно», – повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.

– Ужинать не буду, – сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. – Вы идите.

– Слушаю, – сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все, как нарочно, назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услышав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видеть ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта – гостиная – была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами – одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. Желая вызвать в себе хорошее воспоминание о ней, он взглянул на ее портрет, за пять тысяч рублей написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье, с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным старанием выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» – сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях также обнаженной. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. И этот грубый, животный отец с своим прошедшим, жестокостью, и сомнительной репутацией *bel esprit*¹³ мать. Все это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно.

«Нет, нет, – думал он, – освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагиными, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным... Да, подышать свободно. Уехать за границу – в Рим, заняться своей картиной... – Он вспомнил

¹³ Остроумия (*фр.*).

свои сомнения насчет своего таланта. – Ну, да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества. И устроить это дело с адвокатом».

И вдруг в его воображении с необыкновенною живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другою стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутреню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь, любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение!» И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно.

Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно: оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности, – теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямою, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив и как он теперь был весь во лжи – в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежил в ней.

Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. «Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает, загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги».

И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. «Ах, эти деньги! – с ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту. – Ах, ах! какая гадость! – так же, как и тогда, вслух проговорил он. – Только мерзавец, негодяй мог это сделать! И я, я тот негодяй и тот мерзавец! – вслух заговорил он. – Да неужели в самом деле, – он остановился на ходу, – неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй? А то кто же? – ответил он себе. – Да разве это одно? – продолжал он уличать себя. – Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным. И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего – твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец! Они (люди) как хотят пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману».

И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мисси, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело: в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.

С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чистой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого

промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки.

Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда: писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять, – *turning a new leaf*¹⁴, как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал, и часто ниже того, каким он был прежде.

Так он очищался и поднимался несколько раз; так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью.

С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние.

Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло, – говорил в душе его голос искушителя, – так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие – такова жизнь», – говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, – для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно.

«Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все и всем скажу правду и сделаю правду, – решительно вслух сказал он себе. – Скажу правду Мисси, что я распутник и не могу жениться на ней и только напрасно тревожил ее; скажу Марье Васильевне (жене предводителя). Впрочем, ей нечего говорить, скажу ее мужу, что я негодай, обманывал его. С наследством распорядюсь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодай, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощенья, как дети просят. – Он остановился. – Женюсь на ней, если это нужно».

Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то:

– Господи, помоги мне, научи меня, прииди и вселися в меня и очисти меня от веяния скверны!

Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра. Все, все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать.

На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие и дурные слезы; хорошие слезы потому, что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем, и дурные потому, что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью.

Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная тихая свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчет-

¹⁴ Перевернуть страницу (англ.).

ливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучья деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух.

«Как хорошо! Как хорошо, боже мой, как хорошо!» – говорил он про то, что было в его душе.

XXIX

Маслова вернулась домой в свою камеру только в шесть часов вечера, усталая и больная ногами после пройденных без привычки пятнадцати верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная.

Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот заполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унижительным. Когда же после этого прошло еще три часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услышала неожиданный его приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но, увидав спокойные, деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидав то, что и крик ее был принят также как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дела, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины – молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного – товарища прокурора – она видала совсем в другом настроении. В то время как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видала, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только затем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного оупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного: покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бранить Маслову и называть каторжной.

– Что, взяла? Оправилась? Небось не отвертелась, шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге небось франтовство оставишь.

Маслова сидела, засунув руки в рукава халата, и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол, и только говорила:

– Не трогаю я вас, вы и оставьте меня. Ведь я не трогаю, – повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели и сторож принес ей три рубля денег.

– Ты Маслова? – спросил он. – На вот, тебе барыня прислала, – сказал он, подавая ей деньги.

– Какая барыня?

– Бери знай, разговаривать еще с вами.

Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешение, она сняла замшевую перчатку с тремя пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, один – в два рубля пятьдесят копеек, и присоединив к нему два двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа и при жертвовальнице передал эти деньги сторожу.

– Пожалуйста, верно отдавайте, – сказала Каролина Альбертовна сторожу.

Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой.

Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь.

«Только бы добыть папирос и затянуться», – думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыму, выходящего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их.

Наконец в пятом часу ее отпустили, и конвойные – нижегородец и чувашин – повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им двадцать копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал:

– Ладно, купаем, – и действительно честно купил и папирос и калачей и отдал сдачу.

Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек сто арестантов. В проходе она столкнулась с ними.

Арестанты – бородатые, бритые, старые, молодые, русские, инородцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее.

– Ай, девка, хороша, – говорил один.

– Тетеньке мое почтение, – говорил другой, подмигивая глазом.

Один, черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее.

– Аль не спознала дружка? Будет модничать-то! – крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его.

– Ты что, мерзавец, делаешь? – крикнул подошедший сзади помощник начальника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.